

Виктор Левинов

Выбор жанра

*«Никогда не пробовали написать
некролог о себе? Будет странно,
но я вам, друзья...»*



Виктор Левашов

Выбор жанра (сборник)

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2594825

*Левашов В. Выбор жанра. Былички: Творческое объединение
«Неформат»; 2011
ISBN 978-1-257-88622-7*

Аннотация

Виктор Левашов – член Союза писателей Москвы, автор исторического триллера «Убийство Михоэлса», романов «Журналюга», «Сочинить детективчик», боевиков серии «Кодекс чести». «Выбор жанра» необычная для него книга, своеобразный итог раздумий о жизни. Но не в виде увесистого мемуара, а в виде россыпи новеллок (которые он назвал быличками) – смешных и не очень.

Как и сама жизнь.

Содержание

Северные былички	4
Признание	5
Карьера	15
Шутка	21
Поэт	35
Студенческие былички	47
Благословение	48
Жить не по лжи	60
Слава	74
Театральные былички	79
Комплимент	79
Демиург	86
Сделка	97
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Виктор Левашов

Выбор жанра. Былички

Северные былички

Былички – это такие были, только маленькие. Я был уверен, что где-то слышал это слово, но у Даля его почему-то не обнаружилось. Получается, я изобрел его сам. Ну и пусть будет.

Признание

Всегда смущаюсь, когда меня называют писателем. Чувствую себя самозванцем, как рядовой авиапассажир, случайно затесавшийся в зал официальных делегаций. С юности в голове засело: писатель – это такой небожитель, властитель дум. Ну какой из меня властитель дум? Поэтому обычно называю себя: литератор. И только когда меня тормозит гаишник за превышение скорости и, подбираясь к моему карману, задает стандартный вопрос «Кем работаете?», нахально заявляю «Я писатель!» И тут же сую ему под нос членский билет Союза писателей СССР, внушительную такую книжицу в красной обложке. Союз писателей СССР давно кончился вместе с СССР, но членский билет я не стал менять на ламинированную фитюльку. И правильно сделал. «А что вы пишете?» – автоматически любопытствует гаишник. Все, я выиграл. Разговор плавно переходит от административной ответственности за грубое нарушение ПДД к проблемам изящной словесности, я дарю ему книжку, запас которых всегда вожу в багажнике как раз для таких случаев. И мы мирно расходимся.

Лишь однажды номер не прошел. Пожилой инспектор в чине старшего лейтенанта благосклонно принял книгу с автографом, охотно поговорил со мной о литературе, а потом оштрафовал на все деньги. Прощаясь, напутствовал: «Бере-

гите себя, вы нужны России». Век его не забуду.

Но был один случай, когда меня называли писателем, и я воспринял это без малейшего смущения. Было это в январе 1967 года в заполярном Норильске.

В Норильске я оказался по странному стечению обстоятельств. Причем прилетел, как бывало не раз, не в командировку в качестве спецкора журнала «Смена», где проработал пять лет. Нет, прилетел надолго – жить. Сегодня я не нахожу своему поступку никакого логического объяснения. Да и не логикой мы руководствуемся в молодости. А чем? Бог его знает чем. Подспудным недовольством собой, смутным пониманием неправильности своей жизни. Сколько я встречал таких же, как сам: и на целине, куда еще студентом попал на уборку первого целинного урожая, и на великих сибирский стройках, и на БАМе, который проехал от Усть-Кута до порта Восточный. Нас роднило одно: вера в то, что можно убежать от себя.

Казалось бы, что за беда? Ну, дома было плохо, неудачный брак полностью изжил себя. На работе было плохо. Надвигалось, как долгое ненастье, столетие со дня рождения Ленина, закручивались идеологические гайки, все чаще мои очерки либо уродовались цензурой, либо вообще не шли, хотя свободомыслия в них было не больше, чем градусов в разбавленном пиве. Ну так пересиди, зажмись, ненастье не может быть вечным. Но это я сейчас так рассуждаю.

Как бы там ни было, но решение я принял, а практические детали устроились словно бы сами собой. Нашлась работа – в Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции. Экспедиция переживала не лучшие времена. Как всегда после крупных открытий (а Талнах с богатейшими запасами медно-никелевых руд, найденными пять лет назад, был очень крупным открытием), геологи отодвигаются на второй план, сокращается финансирование. Поднять престиж норильских геологоразведчиков в центральной и местной прессе (сейчас это называется пиар) – это и было задачей молодого талантливого писателя, как в рекомендательном письме представил меня секретарь Московского отделения СП, обрадованный тем, что я не прошу денег на дорогую творческую командировку. Не просил же я потому что все равно хрен бы дали, самим мало.

И вот лютым январским днем с морозом под сорок и легким ветерком, насквозь пронизывающим мой московский ратин, явился я в НКГРЭ доложить руководству, что прибыл и готов приступить к работе. В фойе, обдавшем меня сухим теплом калориферов, наткнулся на заместителя начальника по хозяйственной части. Он только глянул на меня и распорядился:

– Пошли!

В просторной каптерке, заставленной ящиками с консервами «Печень трески» (позже я узнал, что этот недорогой

продукт, не пользующий в те времена никаким спросом, выдавали геологам на маршруты), извлек откуда-то овчинный тулуп, крытый черной брезентовкой, с воротником из цигейки.

– Примерь.

Тулуп тяжело лег на плечи, овчина обволокла тело уютным теплом. К тулупу прибавились меховые ботинки за шестнадцать рублей, в каких ходила половина Норильска. Такие тулупы и ботинки изготавливали по спецзаказу для Заполярья.

– Вот, теперь хоть на человека похож, – удовлетворенно кивнул завхоз. А на вопрос, сколько с меня, лишь отмахнулся:

– С получки заплатишь.

Ах, как не хотелось мне раздеваться в приемной начальника НКГРЭ, как не хотелось! Так бы и жил в этом тулупе!

В кабинете шло совещание. Кроме начальника экспедиции Шубина, сухощавого человека лет пятидесяти пяти, вида совсем не геологического, а скорее канцелярского, было еще человек пять. Главный геолог, с ним я был знаком, и начальники отделов – народ молодой, крепкий, в толстых свитерах крупной вязки, все с бородами. Свитеры и бороды делали их похожими на Хемингуэя, портреты которого в те годы висели едва ли не во всех квартирах. Сбоку от началь-

ственного стола примостилась секретарша с большим блокнотом.

Увидев меня в дверях, Шубин кивнул:

– Посидите, скоро закончим. Так как же, – продолжил он совещание. – «Уважаемый Николай Поликарпович»? Или «многоуважаемый»?

– Можно «глубокоуважаемый», – подсказал главный геолог.

Шубин поморщился:

– Слишком официально.

– А если «дорогой»? – подал реплику один из Хемингуэев.

– Фамильярно. Ладно, пока оставим «многоуважаемый».

Пиши, – кинул Шубин секретарше. – «Многоуважаемый Николай Поликарпович! Коллектив Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции горячо... нет, лучше сердечно... поздравляет вас с шестидесятилетием и желает...» Ты почему не пишешь?

– Я уже три раза это писала, – огрызнулась секретарша. – «И желает крепкого здоровья, больших трудовых успехов и счастья в личной жизни». Прочитать еще?

– Ну, прочитай.

– «Уважаемый Николай Поликарпович! Горячо поздравляя вас с шестидесятилетним юбилеем, коллектив НКГРЭ желает вам несокрушимого здоровья, новых творческих успехов...»

– «И счастья в личной жизни»? – с безнадежным выраже-

нием лица предположил Шубин.

– Нет, – возразила секретарша. – «И большого счастья в личной жизни». Есть еще два варианта, но они такие же. Прочитать?

– Не стоит.

– А если не крепкого здоровья, а богатырского? – неуверенно предложил главный геолог.

– Хрен редьки не слаще, – отмахнулся начальник.

– Можно не «счастья в личной жизни», а «новых радостей в личной жизни», – подсказал тот же Хемингуэй.

– Что ты несешь? – почему-то разозлился его собрат по свитеру и бороде. – Шестьдесят, он же старик! Какие могут быть у него новые радости в личной жизни?

– Ну, не знаю. Любовницу завести. Да мало ли!

– Любовниц он заводит без наших пожеланий, – прервал перепалку Шубин.

– А что такое старость, я вам скажу. Это когда удовольствие превращается в обязанность. – Он немного помолчал и закончил: – Зато обязанность в удовольствие. Это утешает.

– Кто такой Николай Поликарпович? – вполголоса спросил я у ближнего Хэма.

– Заместитель министра геологии.

– И у него юбилей?

– Ну! Второй час сидим, не можем сочинить адрес. Коротенький получается, а нужно хотя бы на полстраницы.

– Плохи наши дела, – констатировал Шубин. – Ходим, как

коза на веревке. Небось, отчеты катаете на сто страниц, а тут текст на полстранички выдать не можете!

– Так то отчеты, – возразил главный геолог. – Там все по делу. А тут...

– А тут не по делу? – перебил Шубин. – Это дело поважнее отчетов! Ты вот представь: на юбилее все будут зачитывать адреса. Нормальные, с чувством. А от нас – три слова? Что он про нас подумает? Я скажу что: мудаки там в Норильске, адреса сочинить не могли. Или не захотели мозгами пошевелить?

Неожиданно начальник замолчал и стал внимательно смотреть на меня. На его канцелярском лице сначала отразилась напряженная умственная работа, а затем оно посветлело, будто ему сообщили чрезвычайно радостное известие.

– Слушайте, что мы мозги попусту сушим? У нас же писатель есть! Настоящий московский писатель. Виктор Владимирович, нам вас сам Бог послал! Выручайте!

Все взоры с надеждой обратились на меня, а я с опустившимся сердцем понял, что все мои планы жизненного устройства пошли прахом. Еще не пошли, но сейчас пойдут. Потому что я никогда в жизни не сочинял юбилейных адресов и понятия не имел, как можно выскочить из заколдованного круга штампованных словосочетаний. Поздравляем и желаем. Желая, поздравляем. Поздравляя, желаем. Ну кому же я нужен, если не могу справиться с таким пустяшным делом?

А самой горькой была мысль о том, что не видать мне больше овчинного тулупа, с которым я уже успел духовно сродниться.

– Этот Николай Поликарпович, он кто – геолог? – спросил я только для того, чтобы потянуть время.

– Да какой он геолог! – пренебрежительно отозвался Шубин.

– Из партийных деятелей.

– В Норильске бывал?

– Пару раз прилетал.

– В тундру ездил?

– Возили. На ближнюю точку. Там у нас все для поддачи.

– Понравилось ему? – продолжал я.

– Еще бы нет. Олешка купили, осетра добыли. Набрался, до ночи песни пел. Еле увезли.

– Какие песни?

– Да какие? – вмешался главный геолог. – «Подмосковные вечера». У других слов не знал.

– Еще одну знал, – подсказал Хэм.

– «Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветру и солнцу брат». Но не до конца.

В кабинете одного начальника крупной сибирской стройки я однажды увидел плакат, поразивший меня своей парадоксальностью: «Если трудности кажутся непреодолимыми, значит близок успех». Я вдруг почувствовал, что близок к

успеху. Попросил секретаршу:

– Пишите. «Дорогой Николай Поликарпович!..»

– «Дорогой»? – переспросил главный геолог.

– Да, дорогой.

– Панибратски.

– Нормально. «Такие знаменательные даты, как ваше шестидесятилетие, являются праздником не только для вас, но и для всех ваших коллег, соратников, друзей и подчиненных», – продолжал я, ощущая прилив вдохновения от мысли, что вырвался из заколдованного круга на оперативный простор. – «Геологи Норильской экспедиции вместе с самыми близкими вам людьми радуются вашему творческому долголетию, неиссякаемой энергии, завидному жизненному оптимизму, которым вы заряжаете всех, с кем сталкивает вас трудная геологическая тропа...» Успеваете?

Секретарша кивнула.

– Абзац. «Мы часто вспоминаем встречи с вами, совместные поездки в суровую заполярную тундру, долгие вечера у костра, ваши ценные деловые советы и раздумья о жизни, которыми вы щедро делились с нами...»

– Ну дает! – искренне, как показалось мне, восхитился один из Хемингуэев.

– Не сбивай! – прикрикнул Шубин.

Но меня уже было не сбить.

– «Мы помним ваши душевные песни, исполненные и грусти, и присущего вам неиссякаемого оптимизма. Для моло-

дых норильских геологов общение с вами стало прекрасной жизненной школой, одним из событий, которые не забываются никогда...» Хватит?

– Пожалуй, – согласился Шубин. – Уже набралось почти на страницу.

– А то могу еще.

– Не нужно.

– Тогда закругляюсь. Абзац, – продиктовал я. – «Примите же, дорогой Николай Поликарпович, самые сердечные поздравления от геологов нашей экспедиции. Желаем вам богатейшего здоровья, новых успехов в труде и большого счастья в личной жизни». Вот и все.

– Готово, – сказала секретарша.

Шубин взял блокнот, в полной тишине прочитал текст, потом назидательно поднял указательный палец и с уважением произнес:

– Писатель!

Карьера

У геологов я проработал около года. Поскольку бить баклуши было как-то неловко, а пиар-деятельность много времени не занимала, в марте улетел на ледовую разведку с гидрогеохимиками. Бурили коловоротами двухметровый лед на бесчисленных таймырских озерах, брали пробы воды и отправляли их в город. По содержанию микроэлементов металлов в воде определялась вероятность месторождений. Метод был не слишком точный, но дешевый, не требующий промышленного бурения. В день проходили маршрутами километров по пятьдесят, до лагеря еле доползали, сгибаясь под тяжестью рюкзаков с пробами. За два месяца стерли на режущем снежном насте по три пары лыж. С тех пор я терпеть не могу лыжи.

Потом пошел летний полевой сезон, вдосталь покормили тундровую мошку. В начале сентября выпал снег, отряд вернули в город, началась камералка. О том, что моя основная задача прославлять НКГРЭ, все как-то позабыли, загружали меня работой по полной программе. Тем более, что числился я старшим техником-гидрогеохимиком, так как в свое время закончил в Ленинграде Технологический институт. Это мне не понравилось, потому что приходилось приезжать к девяти. Поэтому легко дал себя переманить на местную студию телевидения. Шубин согласился на перевод, заручив-

шись моим обещанием геологов не забывать.

Так я стал редактором общественно-политического вещания. Директор студии обещал мне должность старшего редактора, что давало не очень большую, но все же ощутимую прибавку к зарплате, но тянул, объясняя это тем, что горком не утвердит, так как я не член партии. Врет или говорит правду, я понятия не имел. Но давать задний ход было поздно.

На маленьких местных студиях, вроде норильской, редактор – прислуга за все. Он и сценарии пишет, и ездит на съемки с оператором, и готовит выступающих, и сам ведет передачи. В то время ни о каких видеомагнитофонах и ПТС и понятия не имели, все шло в прямом эфире живьем. Не больше пяти процентов времени занимала работа редактора как такового, а все остальное – организационная суета. Единственным, хоть и очень сомнительным, преимуществом телестудии перед НКГРЭ было то, что рабочий день здесь был ненормированным.

Через некоторое время мне поручили освещение чрезвычайно важного мероприятия – Всесоюзной научно-практической конференции, посвященной пятидесятилетию первой геологической экспедиции на Таймыр в 1918 году. С этой экспедиции и пошел Норильск. Было известно, что снаряжена экспедиция по приказу геолкома, а возглавлял ее

знаменитый полярный исследователь Николай Николаевич Урванцев. Пригласили на конференцию человек сто – видных ученых, геологов и металлургов, ведущих специалистов всевозможных НИИ. Среди них были интересные люди, они могли украсить ежедневные полчасовые выпуски. Но нужно было придумать какой-нибудь ход, разбавить хотя бы фотоматериалом говорящие головы. Я поехал в архив НКГРЭ с надеждой что-нибудь раздобыть.

И раздобыл. Но совсем не то, чего ожидал.

Да, первую экспедицию на Таймыр в 1918 году отправил геолком. Но какой! Геолком Омского временного правительства адмирала Колчака. И задачей экспедиции был не поиск медно-никелевых руд, а разведка месторождений каменного угля для того, чтобы обеспечивать топливом на обратный путь пароходы Антанты, доставляющие Колчаку оружие и боеприпасы.

Да, Урванцев участвовал в экспедиции, но возглавлял ее не он, а казачий есаул, военный инженер Сотников, впоследствии расстрелянный красными.

Вот это номер!

С этой сенсационной информацией я и примчался к директору студии. Ему стало нехорошо. И я его понимал: до

открытия конференции два дня, уже съезжаются приглашенные. Отменить мероприятие? Об этом не могло быть и речи. А как его проводить?

Директор вызвал машину и вместе со мной отправился к первому секретарю горкома партии Савчуку человеку в Норильске всевластному. В кабинете у него был директор Норильского комбината Машьянов, недавно назначенный вместо Долгих, ставшего первым секретарем Красноярского крайкома партии. Представив меня, директор приказал:

– Докладывайте.

И только тут я понял, почему он прихватил меня на эту встречу. Одно дело самому сообщить начальству неприятную новость, совсем другое – когда это сделаю я. Роль черного гонца меня не очень-то умилила. Но приказ есть приказ. Я доложил, не упуская подробностей. Даже процитировал докладную записку, в которой обосновывалась необходимость финансировать экспедицию:

– «Поскольку железнодорожного сообщения с портами в низовьях Оби и Енисея не существует, доставка оружия и боеприпасов для Добровольческой армии может производиться исключительно водным путем...»

– Хватит, – буркнул Савчук. – Что вы предлагаете?

– Ничего. Я считаю, что эти материалы украсят программу. История раскрывает свои тайны, – прикинулся я дурачком.

Машьянов усмехнулся, молча пожал первому секретарю руку и ушел. Савчук хмуро посмотрел на меня, потом на директора студии, словно спрашивая: «Он у вас что, больной?»
– Подождите в приемной, – распорядился директор.

Совещание длилось часа два. В кабинет вбежали и выбежали инструкторы, приехал срочно вызванный директор типографии. Искали выход. В конце концов нашли. Научно-практическую конференцию назвали: «К пятидесятилетию начала систематических геологических исследований на Таймыре». Типография работала всю ночь, печатая исправленные материалы.

Выйдя из кабинета первого секретаря, директор студии вытер платком потное лицо и с чувством сказал:

– Вечно от вас одни неприятности!

Я понял, что мое назначение старшим редактором откладывается навсегда.

И ошибся.

Торжественное закрытие конференции состоялось во Дворце металлургов. Кроме участников, был приглашен весь городской бомонд. Мужчины явились при полном параде, дамы в вечерних платьях. Зимой в Норильске слишком мало развлечений, чтобы пропустить возможность на других посмотреть и себя показать. Расставив по точкам операторов, я стоял в ближнем к сцене углу зала, рядом с дверью,

из которой выходили и поднимались на сцену члены президиума. Первым появился директор комбината Машьянов. Я прижался к стене, освобождая дорогу. Неожиданно Машьянов приостановился, молча пожал мне руку и проследовал дальше. За ним шел Савчук. Он тоже пожал мне руку, хотя было видно, что он не понимает, почему это делает. И все члены президиума, а их было человек десять, тоже обменялись со мной рукопожатием. На это странное действие изумленно смотрел весь зал. А самое недоумевающее, я бы даже сказал ошеломленное выражение было у директора студии.

На следующее утро на доске объявлений появился приказ о моем назначении старшим редактором.

Как все-таки важно оказаться в нужное время в нужном месте!

Шутка

Было так. Фамилия у него была Пеньков. Для своих – Пенек. При этом никакого оскорбительного смысла в прозвище не вкладывалось, человек он был добродушный, немного тюфяк, окончил, как и большинство молодых инженеров, Московский цветмет, работал старшим экономистом в плановом отделе Норильского комбината. Жена его Анфиса (назову ее так) была полной противоположностью мужу, баба энергичная, вздорная, амбициозная. Она была старшим редактором на городском радио, выходившим в эфир с пятнадцатиминутными утренними выпусками, которые всегда начинались одинаково: «Московское время два часа ночи. С добрым утром, товарищи. Наш аэропорт закрыт. Из Красноярска самолет не вылетел, московский борт сидит в Хатанге». В подчинении у нее были только дикторша и звукооператор, но считалась она в городе фигурой заметной, влиятельной, потому что была дочерью заведующего отделом агитации и пропаганды горкома партии, а тот в свою очередь приходился свояком первому секретарю горкома Ивану Александровичу Савчуку.

Так вот. Из турпоездки в Венгрию Анфиса привезла автомобильные краги за 180 форинтов, чтобы подарить мужу на день рождения. Но перед днем рождения шумно поругалась с Пеньком (что в их отношениях было делом самым обыч-

ным) и в сердцах подарила краги Илье Каминскому, приятелю Пенька, заместителю главного инженера Норильской железной дороги, который случайно оказался у них дома. Каминский слегка удивился, но подарок принял.

Потом Анфиса помирилась с мужем и потребовала краги обратно. Возможно, если бы это была вежливая просьба, Каминский бы краги вернул. Но не такова была Анфиса, чтобы просить вежливо. Тон ее был хамский, требовательный, и Каминский возмутился:

– С какой стати, мать? Подарок есть подарок, я тебя за язык не тянул.

– Не отдашь?

– А «пожалуйста»?

– Перебьешься!

Разговор происходил летом, часа в два ночи, на Ленинском проспекте, насквозь простреливаемым незаходящим солнцем полярного дня. В каменных дворах общежитий играли в волейбол, зеленел овес на газонах, по проспекту прогуливались парами и группками. Свидетелями разговора стали несколько общих знакомых, стычка их позабавила, а Анфису привела в бешенство.

– Последний раз говорю: отдай по-хорошему! – ледяным тоном предупредила она.

– И не подумаю.

– Смотри, хуже будет!

– Иди ты, мать, в жопу! – вежливо ответил Каминский.

На том и разошлись. А потом по городу пошли слухи, что Каминский нечист на руку, вот – украл в квартире Пеньковых краги за 180 форинтов. Слухи активно распространяла Анфиса. Каминский встретился с Пеньком и потребовал унять жену. Слухи не прекратились. При следующей встрече Каминский слегка набил Пеньку морду и пообещал делать это регулярно, если эта сука не заткнется. В ответ Анфиса обратилась в суд и потребовала привлечь Каминского к уголовной ответственности за кражу венгерских автомобильных краг ценой в 180 форинтов.

Заявление принял судья Вячеслав Николаевич Ханжин, человек светский, завсегда у всех городских тусовок, расторговавший брак у половины Норильска. Прежде чем решить вопрос о возбуждении уголовного дела, он, как это положено по закону, послал запрос о личности Каминского в Управление Норильской железной дороги. Там к запросу отнеслись со всей серьезностью и в отведенный правилами срок прислали характеристику, подписанную треугольником. В ней говорилось, что инженер Каминский прошел путь от сцепщика до заместителя главного инженера, является добросовестным грамотным специалистом и ранее в краже автомобильных краг замечен не был.

История о крагах превратилась в анекдот, какие так любят в небольших городах, вроде Норильска, где все знают всех.

Однажды в конце лета мы сидели с Ханжиным в его кабинете в городском суде и допивали пиво из полиэтиленового пакета – обычная для Норильска тара. Секретарша сообщила:

– К вам корреспондент из «Заполярной правды». Пропустить?

Всех ребят из «Заполярки» мы хорошо знали, но вошел незнакомый молодой парень в стройотрядовской куртке. Как оказалось, стажер из МГУ. Он прослышал про историю с крагами и загорелся написать про нее фельетон. Героем фельетона должна была стать Анфиса. Ханжин на эту тему говорить отказался:

– Дело не закончено, не имею права. Может быть, Виктор Владимирович расскажет, он лицо неофициальное.

Я сгонял стажера за новым пакетом пива и посвятил его в детали истории. Честно предупредил:

– О фельетоне и думать забудь. Шахиня не пропустит.

«Шахиня» – такое прозвище было у редактора «Заполярной правды» Мартыновой, женщины осторожной, прекрасно ориентирующейся во всех тонкостях отношений между начальственными лицами.

– Не пропустит? – удивился стажер. – Но она одобрила тему.

Мы с Ханжиным переглянулись.

В городе главенствовал горком, партийная власть, но су-

ществовала и слабая оппозиция, из комбинатских. Она осталась со времен новой экономической политики, которую в середине 60-х годов пытался проводить Косыгин. Но поскольку при системе Косыгина реальная власть переходила к хозяйственным руководителям, а партия оказывалась как бы и не у дел, косыгинские реформы быстренько свернули. Но остались люди, помнившие о них, желающие их вернуть. Таким было все руководство комбината во главе с тогдашним директором Владимиром Ивановичем Долгих.

Шахиня была близка к этой группе, но допустить, что она рискнет выставить на посмешище дочь заведующего отделом агитации и пропаганды, свояка Савчука, скомпрометирует тем самым самого Савчука – нет, на это она не пойдет. Что ты, самоубийство!

Стажер все-таки написал фельетон. Не очень смешной, но резкий. Он назывался «Как поссорились Илья Иванович и Анфиса Григорьевна». Фельетон разошелся по городу в списках, как самиздат. Все решили: на том дело и кончится. Ан нет. Однажды стало известно, что он подписан к печати и выйдет в субботнем номере.

Часов в десять вечера об этом сообщили Анфисе. Она кинулась к отцу, заведующему отделом пропаганды горкома, свояку Савчука. Он позвонил Шахине. Она говорила с ним холодно: вы не можете мне приказывать, я член бюро горкома, газета в подчинении первого секретаря горкома партии,

только его распоряжения я обязана выполнять. Пришлось идти к Савчуку. Тот обматерил свояка и его дурищу-дочь и сказал, что дело уладит.

Но уладить оказалось не просто. Ночь, в редакции никого нет, редактор в типографии. Телефоны в типографии не отвечают. Наконец, ответил вахтер. Сходил узнал: Шахиня в наборном цехе, подойти к телефону не может. Пришлось Савчуку вызывать машину и ехать в типографию.

Шахиня встретила его невинным удивлением:

– Фельетон? Какой фельетон? С чего вы взяли? Нет в номере никакого фельетона.

Показала подписанные в печать полосы: фельетона не было. Не было его и в номере.

Назавтра над первым секретарем горкома, который вынужден был ночью бегать по городу, как мальчишка, смеялся весь город.

Взбешенный Савчук приказал уволить Анфису с радио. Одновременно с ней подал заявление об увольнении и Пенек. Они вернулись в Москву, а через три месяца в Совет Министров СССР, копия в Комитет партийного контроля, поступила докладная записка от бывшего старшего экономиста планового отдела Норильского горно-металлургического комбината Пенькова. В ней на полутора десятках страниц, с подробными цифровыми выкладками, доводилось до сведения руководства о приписках на десятки миллионов рублей,

которые совершаются на Норильском комбинате по прямому указанию директора комбината Долгих.

Это было уже совсем не похоже на анекдот.

Тут нужно сделать отступление. Строительство Норильского комбината началось в середине 30-х годов и практически стояло на месте, пока в 1938 году его не возглавил Авраамий Павлович Завенягин. Назначение было очень необычным. Незадолго до этого директора легендарной Магнитки сделали первым заместителем наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе. В тот день, когда Завенягин приехал в Москву, Орджоникидзе застрелился. «Не выдержало горячее сердце Серго», скорбно констатировал Сталин. Завенягин оказался в подвешенном состоянии. Он ходил на работу, сидел в пустом кабинете. Никто не звонил, ни с какими делами к нему не шли. Он ждал ареста, но Сталин решил по-другому. На одном из совещаний, где зашла речь о крайне неудовлетворительном положении на далекой заполярной стройке, он вдруг предложил назначить начальником Норильскстроя Завенягина. «Любимый ученик Серго, такой опытный организатор промышленности сумеет вывести стройку из прорыва». Сказать, что это была ссылка – ничего не сказать. Это был смертельный приговор с отсроченным исполнением. Завенягина ждала судьба его предшественника, расстрелянного за развал работы.

Но он сумел переломить ситуацию. Как – отдельная история. Перед войной Норильский комбинат дал первый никель и все войну самолетами отправлял на заводы Урала никель для танковой брони. В 1941 году Сталин вернул Завенягина в Москву позже сделал его одним из руководителей атомного проекта.

При Завенягине были заложены не только первые заводы Норильска, но и наметились проблемы, которые дали о себе знать через десятилетия. При рациональной разработке запасов месторождений «Норильск-1» и «Норильск-2» должно было хватить на сто лет. Но кто тогда думал о рациональности! Нужно было выжить – и самому Завенягину, и десяткам тысяч эков. Поэтому брали только богатую руду, остальное бросали. И к середине 50-х годов обнаружился кризис рудной базы. Содержание никеля в руде было низким, дешевле было покупать никель в Канаде. Острота проблемы была такой, что даже подготовили проект правительственного решения о замораживании производства на прежнем уровне, что является первой стадией консервации комбината. То есть, речь шла о судьбе города с населением в 120 000 человек.

А город между тем вовсю строился. В 1956 году по комсомольскому призыву приехали шесть тысяч молодых ленинградцев и москвичей, не в бараках же им жить. Возводили многоэтажные дома, телецентр, даже бассейн, невиданное дело для таких широт. Ну как тут докладывать в правитель-

ство о консервации? Не поймут, попросят: а какого же вы пробивали средства на строительство города, если знали, что руда кончается? Не знали? А кто должен знать? Не связали одно с другим? А кто должен связывать?

Тянули, надеялись на чудо. И дождались чуда. В 1961 году геологи открывают под самым боком у города, на Талнахе, мощнейшее месторождение богатых медно-никелевых руд. Триумф. Бывший директор комбината Дроздов становится начальником главка Минцветмета, вместо себя оставляет Долгих, которому и приходится решать новые проблемы.

А они были очень непростыми. В прежних норильских рудах соотношение никеля и меди было один к одному, а в талнахских один к трем. Старый Медный завод не мог справиться с такой нагрузкой. А план надо выполнять, от этого зависит заработок рабочих. И тогда Долгих решается на авантюру: бросает все силы на строительство нового медного завода, а медь, как бы выплавленную из талнахской руды, приписывает. Расчет простой: всю зиму медь все равно лежит без движения в пакгаузах Дудинки, а к весне завод пустят и к началу навигации покроют недостачу.

И все бы получилось, если бы не история с автомобильными крагами за 180 форинтов.

Долгих попал. И на помощь со стороны было рассчитывать нечего. Никто не мог ему помочь. И менее всех – на-

чальник главка Дроздов.

Очень причудливо складывались их отношения. Еще в бытность директором комбината Дроздов нашел Долгих на афинажном заводе в Красноярске и сделал своим главным инженером. Но почему-то сразу его невзлюбил, обращался как с мальчишкой, материл при всех по малейшему поводу и без повода. Долгих не прекословил, вникал в производство, в сложную структуру комбината. Когда Дроздов ушел в главк, а директором комбината стал Долгих, потому что некому больше было передать дела, травля не прекратилась. На селекторных совещаниях все сидели, опустив глаза, и старательно делали вид, что не слышат густого начальственного мата.

Потом произошел один случай. У Дроздова в Норильске остался сын, Гоша, работал на телестудии оператором. Однажды с приятелем и двумя девушками он поехал на Валек, в пригород Норильска, где рядом с профилакторием стояли балки норильчан, типа утепленных вагончиков – туда приезжали на шашлыки, на рыбалку. Напились, сожгли балок, девушка погибла. Гоше светила тюрьма. Дроздов прилетел в Норильск и, как говорили, стоял на коленях перед Долгих, просил за сына. Дело замяли. После этого Дроздов возненавидел Долгих уже прямо-таки лютой ненавистью. И докладная Пенькова была для него царским подарком.

Из Москвы прилетела комиссия человек из пятнадцати во главе с заместителем председателя Совета Министров.

Проверка сигнала не заняла много времени. Все изложенное в докладной Пенька подтверждалось до запятой. Комиссия съездила в Дудинку, посмотрела на пустые пакгаузы, в которых никакой медью и не пахло, и вернулась в город. В горкоме партии состоялось расширенное бюро с присутствием членов комиссии. На повестке дня был только один вопрос: персональное дело коммуниста Долгих.

Норильск замер.

Через два часа бюро закончилось. В решении было: коммунисту Долгих поставить на вид. Не исключить из партии, снять с работы и отдать под суд, не строгий выговор с занесением в учетную карточку, не просто выговор. Поставить на вид. Всё.

Позже я познакомился с чиновником из Совмина, который прилетал в Норильск в составе комиссии, и спросил, почему так кончилось персональное дело Долгих. Ведь снять его было – как два байта переслать, говоря современным языком. И желающих заменить его на посту директора Норильского комбината наверняка было немало. Флагман отрасли, место престижное. В чем же дело?

– Да, снять его было легко, – согласился он. – И заменить легко. Мы вели переговоры со многими. Но все сразу спрашивали: а приписки спишете? Нет? Тогда нет. Кому же охота вешать на себя двадцать с лишним миллионов приписок? Так и получилось, что в той ситуации руководить комбинатом мог только один человек. Сам Долгих.

Все вышло так, как и планировал Долгих: новый завод был построен, начал переработку талнахской руды, и к открытию навигации дудинские пакгаузы уже ломались от меди.

Летом в Норильск прилетел Председатель Совета Министров Косыгин. Неизвестно, о чем он говорил с Долгих, но через некоторое время по Би-Би-Си передали: «Председатель советского правительства Косыгин встретился с министром цветной металлургии Ломако и просил его об отставке в пользу директора Норильского комбината Долгих. Ломако отклонил просьбу премьер-министра».

Осенью на партийной конференции коммунисты Красноярского края избрали Долгих Владимира Ивановича первым секретарем краевого комитета партии. Говорят, что свою первую речь на партхозактиве он начал так:

– Главное для нас сейчас, товарищи, снег. То есть хлеб.

Красноярским краем Долгих руководил недолго. Вскоре он пошел на повышение – стал Секретарем ЦК КПСС по промышленности и транспорту. Все, кто знал о его отношениях с начальником главка Минцветмета Дроздовым, руки потирали от предвкушения: ну, он ему теперь покажет, расплатится за все унижения.

Однажды в главк позвонили со Старой площади: к вам выезжает секретарь ЦК КПСС Долгих. Дроздов встречал его у лифта. От волнения он с трудом стоял на ногах. Но встреча

прошла удивительно мирно, даже душевно. Долгих подробно расспрашивал о делах, интересовался, какая нужна помощь, на прощанье пожелал больших успехов.

Проводив высокого гостя, начальник главка обессилено упал в кресло: пронесло.

На следующий день вышло Постановление Секретариата ЦК КПСС: в целях совершенствования структуры управления промышленностью все главки в составе министерств ликвидировать.

Почему-то вспомнился анекдот. Во время войны Сталин проходит через приемную и говорит своему секретарю Поскребышеву:

– Решили мы вас, товарищ Поскребышев, расстрелять.

И уходит.

Через некоторое время снова:

– Нет, все-таки придется вас, товарищ Поскребышев, расстрелять.

И снова уходит.

На приеме по случаю победы Сталин поднимает тост:

– Я пью, друзья, за моих верных помощников. В трудные годы войны мы умели не только работать, но находили время и пошутить. Вот товарищ Поскребышев не даст соврать.

Бытует мнение, что Советский Союз рухнул, потому что в руководстве его были плохо образованные люди, карьер-

сты, ничего не понимающие в народном хозяйстве. Да нет, люди там были образованные, решительные, умеющие рисковать и брать на себя ответственность. А Советский Союз все-таки развалился. Почему? Все причины будут правильными и все неправильными. Не приживается дерево, если воткнуть его в землю силой. Не прижился нацизм в Германии, не прижился социализм в России. И демократия не очень-то приживается. А что приживется? То, что вырастает из земли само, из семени. Как демократия в Америке или парламентаризм в Англии. Знать бы, что за семя выпускает сейчас в российскую почву свои ростки!..

Поэт

Он был еврей, но какой-то неправильный еврей. Ну разве бывают еврей-шахтеры? И не какие-нибудь нормировщики или учетчики, а самые настоящие горнорабочие, которые поднимаются из забоя в черной угольной пыли до глаз, оттираются мочалками в душе, выходят на свет божий и ничего-ничего им больше не нужно для полного счастья. Разве что стакан водки.

Таким он и был. Учился в Донецке в горном техникуме, отслужил в армии, работал на шахте. Потом завербовался в Норильск, где платили поясной коэффициент 1,8 и по 10 % полярных надбавок к зарплате за каждые полгода, в сумме не больше 60 %. Через три года зарплата северянина составляла 240 % зарплаты жителя материка, как в Норильске называли все, что южнее 69-й параллели. Ровно через три года он бросил работу. Совсем. Как отрезало. И в последующие двадцать лет, которые отпустила ему судьба, никуда не устраивался. И это еврей?

Его устраивали – то оператором в котельную, то еще куда. Хватало не надолго. Ему невыносима была сама мысль, что нужно вставать по будильнику и куда-то тащиться. В пургу, в сорокаградусный мороз с ветерком. Да пропади оно все пропадом. Он и не вставал. Ах как я его понимал!

Поэт – это не профессия. Поэт – это образ жизни. В этом смысле он был настоящим, большим поэтом.

Звали его Эдуард Нонин.

Когда я приехал в Норильск и познакомился с ним, он был уже очень популярен в городе. Его знали все и он знал всех. Низенький, пузатый, с черной бородищей такой густоты, что ему приходилось раздирать ее пальцами, чтобы закурить или пропустить стопарь. Всегда переполненный веселой энергией, заразной беззаботностью. Балагур, выпивоха, бабник. Когда ему хотелось выпить, а денег не было (денег у него никогда не было), он заходил в ресторан купить сигарет и уже через пять минут оказывался за чьим-нибудь столом и сразу становился центром компании. Даже с похмелья не бывал угрюмым. Вот он утром протирает глаза, скептически смотрит на себя в зеркало и произносит:

– От длительного потребления алкоголя в лице появляется нечто лисье.

Потом исчезает в туалете. Выйдя, озабоченно спрашивает:

– Мы что вчера пили? «Гымзу»? Надо завязывать, из меня уже «Гымза» льется.

«Гымза» – это было болгарское красное вино в бутылках с камышовой оплеткой, которое в те годы не переводилось в Норильске.

– Эдя, из тебя не «Гымза» льется, – успокаивали его. –

Это у тебя геморрой.

– Да? – оживляется он. – Хорошо. Тогда наливай!..

Стихи у него были такие:

Говорила клизма клизме:

«Не ханжа я вовсе, но

Кроме жопы в организме,

Я не вижу ничего».

Назывались жопизмы. Еще были жопэмы. Подлиннее, но тоже не очень приличные. Это для своих. В городе же он был известен как детский поэт, выступал в школах, на утренниках в детских садах. Малышня его всегда радостно принимала, он веселился, они веселились.

Ворон Ворону сказал:

«Отправляйся на вокзал,

Там у первого вагона

Встретишь тетушку Ворону,

Отвезешь ее домой

И получишь выходной...»

Стихи он начал писать в тюрьме. Вернее, на гарнизонной губе, где сидел, пока в военной прокуратуре ему шили дело о дезертирстве.

Было так. В часть, в которой он служил, приехал с ин-

спекцией генерал. И первое, что увидел: идут два солдата по плацу, расхристанные, покуривают, болтают. «Ко мне!» – рывкнул генерал. Солдатики испуганно остановились, потом один из них зайцем стреканул на хоздвор. «Стоять!» – завopil генерал, но того и след простыл. «Товарищ генерал, разрешите догнать?» – вызвался второй. «Догони!» И второй с концами. Генерал даже растерялся. «Ну, сукины дети!»

Утром всю часть построили на плацу. Генерал кратко, по-военному, доложил о вчерашнем происшествии и заключил: «Первый солдат – трус. А второй молодец, проявил смекалку. Хочу его увидеть. Обещаю, ничего не будет. Два шага вперед!» Строй не шелохнулся. «Не верите? Даю слово офицера!» Строй не дрогнул. «Ладно, – поднял генерал ставку. – Если признается, пять суток отпуска!» На левом фланге произошло шевеление, солдат сделал два шага вперед.

– Это я, товарищ генерал! Рядовой Нонин.

Генерал посмотрел на него с большим сомнением:

– Не ты.

– Я, товарищ генерал!

– Не похож.

– Вы не успели разглядеть!

Ну, слово дано. Получил Эдик отпуск. Пять суток промелькнули, как сон, как утренний туман. Решил: задержусь еще на денек, ничего страшного. Потом еще на денек. В часть вернулся только через две недели и тут же загремел на губу. От тоски, от предчувствия долгой неволи сложились

первые строчки:

Волк решил: схожу к Ежу
И иголку одолжу...

Может быть, и не эти. Главное – сложились. Стало легче. Стало свободнее. Тогда он еще не знал, что поэзия – это свобода. До тюрьмы не дошло, дело замяли, но за эти недели на губе в нем родился поэт, и это уже было неизлечимо.

Как СПИД.

Писал он и взрослые стихи:

*Для чего эти бедра крутые,
Эти груди литые твои,
Словно древнюю тайну открыли
Летней ночью тебе соловьи.
Ты шептала: – Луну погасите!
Соловьев укротите разлив!..
Извиваясь, как змей-искуситель,
Ветер в окна вползал и дразнил.
И колени, испугом прошиты,
Словно в каждом стонала душа,
Друг у друга искали защиты,
По-оленьи ознобно дрожа...*

Не знаю, выдержат ли эти строки суд ревнителей высокой поэзии. Может быть, нет. Но для меня они живые. Они неот-

делимы от этого раздолбая. Вот он лежит в своей комнатушке на продавленной тахте, чешет пузо и с подвыванием читает:

*Но разбуженный зов материнства
Отзывался, как эхо, в виске.
И у неба румянец пробился
На стыдливой восточной щеке.
Ничего ты поделатъ не в силах
С непреложным законом Земли.
Подари мне, любимая, сына.
Подари, подари, подари!..*

А за черным окном глухая полярная ночь, каменные двухэтажные помойки в пятиметровых сугробах. Какие, к черту, соловьи, какая луна, какой у неба румянец!

Я не случайно назвал его раздолбаем. Он и был раздолбаем. Более необязательного человека я не встречал. В то время я работал на Норильской телестудии. Договариваюсь с директором студии, что Нонин напишет стихи для праздничной передачи к 7 ноября. Он упирается: не напишет. Я настаиваю: напишет. Он сдается: на вашу ответственность. Эдик рад: хоть какие-то деньги. Договариваемся, что он придет ко мне к восьми вечера и мы вмонтируем его стихи в сценарий. В восемь его нет. В девять нет. В десять нет. А сценарий нужно сдать завтра утром, кровь из носу. В час но-

чи, гнусно матерясь, я сажусь писать стихи. К восьми утра у меня сто двадцать строк. Еду на студию. Директор поражен: надо же, от Нонина я этого не ожидал, не просто написал, а хорошо написал, правильно.

Больше стихов я не писал никогда.

Справедливости ради нужно сказать, что он подводил не только меня, но и всех, кто имел неосторожность на него положиться. Однажды это для него плохо кончилось. После того, как он бросил работу, жена его, с которой он приехал из Донецка, года два терпела. Потом не выдержала: ну сколько можно кормить этого бездельника. Эдик не слишком расстроился. Послonyaвшись по квартирам знакомым, бросил якорь у молодой женщины, инженера центральной химлаборатории (той, у которой бедра крутые и груди литые). Назад не просился, чего жена никак не ожидала и была глубоко оскорблена. Подала на развод и алименты (у них была дочь). Исполнительный лист выдали, но алиментов не было. Она в суд. Там развели руками: что мы можем сделать, если он не работает. Так заставьте. Начала писать в горком партии: призовите к ответственности тунеядца. В горкоме то ли помнили о деле Бродского, то ли было не до Нонина. Дали указание суду: примите меры. Уголовная статья: уклонение от уплаты алиментов. Дело попало к судье, которая Эдика знала и хорошо к нему относилась. Она послала ему повестку,

он не явился. Вторую – то же. Однажды встретив меня на улице, едва ли не взмолилась: ну пусть Эдуард придет и напишет заявление, что он обязуется устроиться на работу. Я в то время был на него зол, как собака, за историю со стихами. Но все же пошел к нему, передал просьбу судьи. Он клятвенно пообещал: завтра пойду. И, конечно же, не пошел. Кончилось тем, что его доставили в суд с милицией и в тот же день он получил шесть месяцев исправительно-трудовых работ в колонии общего режима.

В один из дней, несколько лет спустя, мой спектакль, поставленный в московском Новом театре, играли в помещении Театра сатиры. Событие не то чтобы знаменательное, но и не совсем рядовое. Вместе с постановщиком спектакля и композитором Лешей Черным, написавшим к нему музыку, мы отправились в театр. Эдик Нонин тоже поехал, он в то время жил у меня в Малаховке. После спектакля пошли домой к Черному, в кооператив композиторов в Каретном ряду, отметить это дело. За столом разговорились и случайно выяснилось, что Черный и Нонин в одно и то же время были в поселке Нижний Ингаш под Абаканом, Леша там служил во внутренних войсках. Пошли, как всегда в таких случаях, вопросы: того знаешь, а того знаешь? Ответы странным образом не совпадали. Черный никак не мог понять, в чем дело. Я объяснил:

– Вы были в Нижнем Ингаше с разных сторон колючки.

Ты охранял, а он сидел.

Недавно в Интернете мне попалась книга правозащитника Генриха Алтуняна «Цена свободы. Воспоминания диссидента», отбывавшего в Нижнем Ингаше семилетний срок. В ней я прочитал:

«И еще была интересная встреча в Н. Ингаше. С одним из очередных этапов в зону прибыл симпатичный молодой человек, который резко выделялся умными глазами и вообще интеллигентностью. Это был норильский поэт Эдуард Нонин. Мы с ним сдружились. Он весьма снисходительно отнесся к моим стихотворным опытам, много и интересно рассказывал о стихосложении, о поэтах».

В книге цитировались стихи Эдика, посвященные Алтуняну:

*Когда развеется туман
И ветры вешние подуют
И «враг народа» Алтунян
Свои стихи опубликует, —
У Бурмистровича Ильи —
Такого же «врага народа»,
Давным-давно в кругу семьи
Жующего мацу свободы,
При виде генриховых книг
Гримасою пренебреженья
Лицо перекосится в миг
Или позднее на мгновенье,*

*И скажет он жене: – Обман,
Невежество! Абсурд! Халтура!
Подумать только, – Алтунян —
И тоже прет в литературу!..*

«Мне нравились его стихи, стихи профессионала, – пишет далее Алтунян. – Помню, он рассказывал, что незадолго до ареста получил премию журнала «Сельская молодежь» за детские стихи «О двух пингвинах». А попал Эдуард в зону за неуплату алиментов, получив смехотворный срок – полгода. В зоне он был всегда несколько месяцев, так что мое литературное образование нельзя считать даже начальным. На самом же деле он просто повздорил с одним из партийных секретарей, которые, как известно, в своем районе, городе, области или крае всегда были вершиной власти, а алименты – просто повод, зацепка. Спустя много лет Борис Чичибабин познакомил меня с прекрасным писателем Феликсом Кривиным, который только что приехал из Норильска. Он рассказал, что Нонин по-прежнему в Норильске. Больше я о нем ничего не слышал».

Эдик по-прежнему был в Норильске и нисколько не изменил своему образу жизни:

*Какое дело вам, как, дервиши и бездельник,
Я плачу и смеюсь, где ем, где пью и сплю,
Что не было и нет в моих карманах денег,*

Что женщина ушла, которую люблю?..

Бывшая жена уже не приставала к нему с алиментами, махнула рукой. Новая (подарившая ему сына) и не возникала, принимала мужа, как климат. В один из приездов в Норильск (мне приходилось довольно часто бывать там в командировках) я предложил:

– Приезжай, Эдик, ко мне. Дом большой, места хватит. Пиши стихи и ни о чем не думай, как-нибудь прокормлю.

Незадолго до этого я купил под Москвой дом и, как в свое время Чехов, настойчиво созывал друзей в гости.

Он согласился. Из этой затеи ничего не вышло. Полгода он прожил у меня и написал всего шесть коротеньких стихов. Однажды признался:

– Не пишется. Знаю, что писать должен, потому писать не могу. Всегда мечтал, чтобы ничего не мешало. Оказывается, нужно, чтобы мешало. Не свобода нужна, а мечта о свободе.

Он вернулся домой, устроился смотрителем на газопроводе в тундре на трассе «Мессояха – Норильск». Вот эта работа была по нему: всего раз в месяц нужно утром встать и дойти до вахтового автобуса. А потом уже все делалось само собой: местный аэропорт «Валек», вертолет до точки, а там сам себе хозяин – пять раз в день снимай показания приборов, а в остальное время пиши стихи. Он много тогда написал. Словно чувствовал, что недолго ему осталось. Одно из последних его стихотворений называлось «Сыну»:

*Но пока звучит над головою
Еле слышная моя строка,
Мальчик мой, я буду жить с тобою,
Будто не ушедший на века.*

Эдик Нонин умер от рака. В Норильске нет долгожителей. После его смерти жена увезла его сына в Израиль. Говорят, там живут дольше.

И вот странно: чем больше отдалеяется прошлое, тем крупнее, значительнее становится образ моего друга. Человека, который даже в те годы умел быть свободным. И уже не шуткой воспринимаются слова, сказанные в шутку судьей Славой Ханжиным о первом секретаре Норильского горкома партии Савчуке:

– Какой-то мелкий партийный чиновник во времена поэта Эдуарда Нонина.

Я сказал, что за полгода у меня Эдик написал шесть коротких стихов. Вот один из них:

*В окружении волос
Лик ни*ды страшной бандита.
Когда же волосы обрить,
То жалко бедную до слез.*

Студенческие былички

Должен покаяться. Не обнаружив у Даля слова «былички», я самонадеянно решил, что изобрел его сам. Увы, нет. Гугль поправил:

«Основное отличие быличек от преданий и легенд состоит в том, что всё описываемое в них привязывается к относительно недавнему времени, героями являются рассказчики и их современники: знакомые, родственники, представители предыдущего поколения, но всегда конкретные люди...»

Этнографическая электронная энциклопедия «Традиционная культура народов европейского северо-востока России».

Благословение

У каждого человека бывал момент, когда жизнь его висела на волоске. Но немногие, радуясь тому, что чудом удалось избежать смертельной опасности, осознают, что это был знак свыше – благословение, божественное позволение жить дальше.

Еще некоторое время.

В 1959 году я окончил Ленинградский Технологический институт имени Ленсовета по специальности «электротермия». До сих пор не понимаю, зачем я в этот институт поступил и каким образом умудрился его окончить. Почему умудрился, знаю: смерть как не хотелось загреметь в армию. Ни о какой дедовщине тогда разговоров не было, но стоило только представить, что придется три года (в те времена служили три года) бухать кирзой по плацу, как вся моя вольнолюбивая натура бурно протестовала и отзывалась мобилизацией всего организма.

Отчисляли меня шесть раз. В основном, за прогулы. Но и за академическую неуспеваемость тоже. И не сказать, что я был такой уж тупой. Попробуйте-ка за одну ночь проштудировать четыре увесистых тома «Органической химии» Чичибабина и утром на экзамене получить «удовлетворитель-

но». А мне однажды удалось. Нужно ли говорить, что уже через час от всей органической химии в голове у меня осталась только фамилия автора учебника?

Поступление в ленинградскую «техноложку» было следствием, как ни странно, моего снобизма. Казалось бы, откуда взяться снобизму в семнадцатилетнем юнце из семьи простых школьных учителей, всю недолгую жизнь прожившего в захолустном Рыбинске, потом в северной, такой же захолустной Ухте и в маленьких поселках под Краснодаром. А вот поди ж ты – сидело где-то внутри презрительное недоверие к общему мнению. И сейчас сидит. Лишь большим усилием воли заставляю себя пойти на фильм, о котором много говорят, или прочесть книгу, вызвавшую всеобщее восхищение.

В те годы очень популярна была профессия геолога. Поэтому я сразу ее отверг. Мечтой всех старшекласников было учиться в Москве. Отверг и Москву. Пошлый, базарный город. (Хотя ни разу в нем не был). Другое дело Ленинград (в котором тоже никогда не был). Невы державное течение, береговой ее гранит. Петропавловская крепость, на шпигеле которой одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса.

И вот в знойный сонный послеполуденный час отец, завуч поселковой школы, внушительных габаритов потомственный кубанский казак с короткими седыми волосами и красным лицом, провожает меня до калитки, снисходительно треплет по плечу, говорит: «Ну, с богом» и уходит в дом до-

сыпать. А я с чемоданом тащусь по солнцепеку до разъезда, на котором поезд «Новороссийск – Ленинград» останавливается на две минуты, и уезжаю поступать в педагогический институт имени Герцена.

Следуя семейной традиции.

В семье у меня все были учителями. Отец преподавал химию, мать – математику, мачеха – биологию. Родители разошлись сразу после моего рождения. Или даже раньше. В детстве я никак не мог понять, как это моя сводная, по отцу, сестра может быть всего на полгода младше меня. Чтобы прокормиться в голодные послевоенные времена, мать завербовалась в Ухту, где платили северные надбавки, работала в железнодорожном техникуме. Но к пятому классу я стал отбиваться от рук, школу прогуливал, курил и однажды от меня даже пахло вином. Мать запаниковала и отослала меня к отцу, который тогда работал в школе в маленьком поселке Энем под Краснодаром. Так и получилось, что я познакомился с отцом, когда мне было двенадцать лет.

В Энеме моя вольница кончилась. Жили при школе, кругом были учителя, дети учителей. Пришлось соответствовать. Весной и осенью, когда пахали под озимые, любимым развлечением поселковых пацанов было идти, как грачи, за плугом и выбирать из жирного чернозема желтые макарошки – бездымный порох, оставшийся со времен войны. Из него можно было делать ракеты или просто жечь. Попада-

лось много гильз, иногда патроны. А однажды весной мне и двум моим приятелям повезло: плуг выворотил из земли тяжелый артиллерийский снаряд и небольшую мину с прямым стабилизатором. Находки мы оттащили с поля в полуразрушенный бетонный дзот и попытались разобрать снаряд, чтобы добыть тол. Но снаряд был покрыт слоем ржавчины и никак не развинчивался. Тогда мы стали по очереди поднимать его над головой и со всего размаха швырять о бетон. Может, расколется? Но нет, не раскалывался. Довольно скоро мы выдохлись, развели костер, бросили в него снаряд и мину и спрятались поодаль в старом окопе, затыкая уши и с замиранием сердца ожидая, как сейчас рванет. Не рвануло. Мы плюнули на это дело и разошлись по домам делать уроки.

Рвануло минут через сорок. Да так, что в школе дзенькнули стекла. И тотчас раздался душераздирающий визг – это куда-то улетела мина. Взрослые выскочили на школьный двор, тревожно переговаривались. Мы старательно изображали на лицах невинное любопытство. На следующий день осторожно подошли к дзоту. На его месте была трехметровая воронка. Так этот случай и остался в памяти занимательным эпизодом, в котором самым занимательным были перепуганные лица взрослых.

Школу я заканчивал уже другую, в поселке нефтяников Черноморский в шестидесяти восьми километрах от Красnodара и километрах в двухстах от Черного моря. В Эне-

ме отец не прижился из-за склочности характера, которую мачеха называла принципиальностью и очень мужем гордилось. Оба они были из первых комсомольцев, убежденные коммунисты. Познакомились в Магнитогорске, на знаменитой тогда Магнитке, где отец был директором школы и членом бюро райкома партии. Потом произошла какая-то история с Янукидзе, как я понял – крупным партийным деятелем. За связь с врагом народа отца исключили из партии. Все шло к тому, что его арестуют, но мачеха проявила решительность и заставила его спешно уехать в Москву, где у нее были родственники. В 41-м отец ушел на фронт, после демобилизации переехал на родину, на Кубань. После смерти Сталина его восстановили в партии с сохранением стажа, это сделало возможным его назначение завучем в школе Черноморского.

С отцом-учителем не побалуешь, а с отцом-завучем тем более. Для меня наступили тяжелые времена. Стали недопустимыми даже случайные тройки, а потом и четверки. Учеба мне давалась без особых трудов, хотя ко всем предметам я относился одинаково равнодушно. Исключением была литература. Полюбил я ее случайно. Однажды меня вызвали к доске. На дом была задана комедия Гоголя «Женитьба». Поскольку накануне вместо Гоголя я всю ночь читал «Декамерон», обнаруженный в библиотеке отца среди старых журналов «Химия в школе», я понятия не имел, кто такая Агафья Тихоновна. Но ответил бойко, рассмотрел образ таинствен-

ной Агафьи Тихоновны в контексте нравов купечества и нашел общие корни с персонажами Островского, луч света в темном царстве. За ответ получил пятерку и понял, что из всех школьных предметов мне больше всего нравится литература. С того раза к урокам по литературе я никогда не готовился, всегда получал пятерки, а отрывки из моих сочинений добрейшая «литераторша» Нина Ивановна, приятельница отца, часто зачитывала перед классом – в качестве примера, как нужно писать сочинения.

Но литература – это было как-то не очень серьезно, чтобы сделать преподавание ее своей профессией. Ну что это, в самом деле, за профессия – растолковывать образ Агафьи Тихоновны? Поэтому, когда после школы дошло до дела, я остановился на химии. Химия – это было солидно. Уже в поезде «Новороссийск – Ленинград» поднял планку и решил поступать не на химфак пединститута, а в ВУЗ посерьезнее – в «техноложку». И уже видел себя не в измазанном мелом костюме у школьной доски объясняющим скучающим балбесам разницу между окисью и закисью, а в белом халате, окруженном хорошенькими лаборантками, среди колб и реторт, в которых булькало что-то зелененькое.

С поступлением в институт у меня никаких проблем не возникло. Школу я окончил с серебряной медалью, с единственной четверкой по физике, медалистов в те годы принимали без экзаменов. Меня зачислили на первый курс, дали стипендию, дали общежитие возле Московского парка По-

беды, и после школьной каторги пошла у меня веселая студенческая жизнь, разлили малина! Хочешь – иди на лекцию, хочешь – не ходи. Танцы-шманцы, преферанс ночи напролет, фланирование по Невскому с обязательным заходом в «зеркалку», подвальную забегаловку, где торговали в разлив портвейном «777». Староста группы, набравшая проходной балл только с третьей попытки, была своя в доску, прогулов не ставила, лишь укоризненно вопрошала:

– Ты зачем приехал – учиться или гулять?

– Гулять, – честно отвечал я.

– Не ценишь ты, что поступил в такой институт. Ох, не ценишь!

В этом она была права.

Не знаю как у кого, но в моей жизни было несколько случаев, истинный смысл которых осознавался не сразу, а обдумывался долго, мучительно, иногда годами. Такой случай произошел через пару дней после окончания экзаменов на аттестат зрелости. Мы с ребятами резались в баскетбол на школьной площадке, когда на крыльце появилась Нина Ивановна и поманила меня: «Зайди». В пустой школе с гулким от пустоты вестибюлем завела меня в кабинет завуча, приткнувшийся возле раздевалки, плотно прикрыла дверь. Потом достала из сейфа стопку сочинений, извлекла мое и мизинцем показала на слово.

Слово было «участвовать».

– Исправь.

Пока я старательно зачеркивал лишнюю букву, снаружи раздались грузные шаги и добродушное отцовское «грам-па-ра-рам». Была у него такая привычка мурлыкать незатейливые мелодии. Дверь открылась, отец несколько секунд постоял на пороге, глядя на нас, потом сказал: «Ах, да!» с видом человека, который что-то вспомнил. С тем и удалился. Нина Ивановна убрала в сейф сочинения и кивнула: «Иди».

Я вышел. Гонять мяч больше не хотелось. Я не то чтобы не понимал, что произошло, но просто физически не мог об этом думать. Слово бы какой-то блок образовался в сознании. Со временем блок слабел. Однажды я поймал себя на том, что спотыкаюсь на слове «участвовать» (и до сих пор спотыкаюсь). В другой раз вдруг задумался, почему слова о патриотизме, верности долгу, принципиальности и все прочие высокие понятия вызывают во мне не просто равнодушные, но даже ироническую усмешку, откуда во мне этот цинизм?

Только лет через двадцать, прилетев на похороны отца, я понял, что полностью освободился от сковывающего мое сознание блока и могу свободно думать о том давнем случае. Есть слова, а есть жизнь. Главное в жизни – семья. Главное в семье – дети. И если для блага сына, как ты это благо понимаешь, нужно изменить всем своим принципам – измени. Таким был главный урок, который дал мне мой несуразный отец в день своих похорон.

Но до этого понимания было еще далеко. А пока же отголоском того случая было то, что я действительно не ценил своего поступления в институт.

Как вор-карманник не ценит украденные деньги.

В середине семестра, словно бы утолив жажду свободы, я решил, что пора, пожалуй, поучиться и стал более-менее исправно ходить на лекции. И тут обнаружил, что совершенно не понимаю, о чем идет речь. Не понимаю математики, которая стала высшей. Не понимаю даже химии, которую вроде бы неплохо знал. Меня будто включили в игру, не объяснив правил. Правила объяснили – на лекциях, которые я с удовольствием прогулял. Мне бы взять у кого-нибудь конспекты и вникнуть, но подумалось: ерунда, разберусь. Но так и не разобрался, так все пять лет и просидел дурак дураком, мучительно вглядываясь в формулы, как в китайские иероглифы. И лишь на занятиях по военной подготовке слегка расслаблялся.

Занятия на военной кафедре, на которой готовили военных инженеров, специалистов по боеприпасам, проходили по пятницам. Пятницы считались черными. Боже упаси опоздать хотя бы на пять минут, тут же будет доложено в деканат. Нашу группу курировал молодой майор Комиссаров (до сих пор фамилию помню) – всегда подтянутый, отглаженный, в сверкающих сапогах, выбритый до синевы,

благоухающий шипром. Настоящая военная косточка. Меня он сразу люто невзлюбил, обнаружив в моей тетради расписанную преферансную «пулю». Говорили, что однажды в поезде его обчистили шулера, с тех пор он на дух не переносит картежников. Не знаю, правда это или нет, но браваый майор не упускал случая придраться ко мне по любому поводу. В написанной им характеристике, которую военная кафедра давала каждому выпускнику, младшему лейтенанту запаса, вполне справедливо отмечалась моя расхлябанность, несобранность, склонность к нарушениям дисциплины. Единственным положительным качеством было: «Физически здоров». Будь его воля, он выгнал бы меня уже после первого курса. Но воли не было, приходилось терпеть.

И вот, неожиданно поднятый с места, я стою у доски с прикнопленными к ней учебными плакатами и отвечаю на вопрос об устройстве взрывателя 125-миллиметрового артиллерийского снаряда, а майор прохаживается по кафедре в своих сверкающих сапогах и презрительно поправляет каждую мою неточность. И вдруг я замолкаю на полуслове. Смотрю на плакат с цветным продольным разрезом снаряда и тупо молчу.

– Задремали, студент? – ехидно интересуется майор Комиссаров.

Я не задремал. С необыкновенной ясностью, точно бы это происходит сейчас, а не много лет назад, я представляю весенний день в поселке под Краснодаром, старый дзот и себя

с приятелями, изо всех сил швыряющими в бетон точно такой же снаряд, какой изображен на плакате – с начинкой в два килограмма тола, с хитроумным устройством взрывателя ударного действия. Вот сейчас соскочит предохранитель, пружина приведет в действие боек, боек ударит по детонатору...

Снаряд взорвался у меня в голове. Потом ребята рассказали, что я побледнел, как покойник, схватился за доску и сполз бы по ней на пол, если бы майор не успел подставить стул. Обморок был короткий. Пелена перед глазами рассеялась, предметы обрели четкость. Я увидел растерянное лицо Комисарова, который тряс меня за плечо и повторял:

– Что с вами, студент? Вы меня слышите? Вам плохо?

– Никак нет, товарищ майор, – ответил я со слабой и, кажется, жалкой улыбкой. – Наоборот. Мне хорошо.

Майор отправил меня в медпункт, но в медпункт я не пошел. Выбрел из института и обессилено плюхнулся на скамейку в крошечном скверике перед входом в главный корпус, с фасада которого строго смотрели барельефы знаменитых ученых. Был серенький ленинградский денек. По Московскому проспекту дребезжали трамваи. Самосвалы вывозили строительный мусор от почти законченной станции метро «Технологический институт». Со стороны Витебского вокзала тянуло тревожащим воображение паровозным дымком. Все было необыкновенно ярко, зримо, наполнено жи-

вой полнокровной жизнью.

Я чувствовал себя так, словно бы мне было даровано свыше благословение жить. Даровано давним весенним днем, а сегодня объяснено.

Словно бы мне сказали: ладно, живи.

Только не сказали зачем.

И я не знаю этого до сих пор.

Жить не по лжи

После второго курса нас отправили в Северный Казахстан на уборку первого целинного урожая. Дело обычное, студентов всегда гоняли то на картошку, то на местные сельские стройки, не спрашивая согласия. Но тут почему-то решили, что первый целинный урожай – дело государственной важности, негоже обращать его в обязательку, поэтому был объявлен набор добровольцев. Добровольцев на нашем курсе нашлось человек десять – те, кто не знал, куда деваться летом. Я был одним из первых, кто принес в институтский комитет комсомола заявление с просьбой направить меня на целину в составе ударного студенческого отряда. Ехать к отцу и киснуть в пустом поселке все лето не хотелось, но главное – было интересно, что же это за целина, о которой было столько шума.

Десять человек для ударного отряда – маловато будет. Разнарядка сверху была на двести. Принцип добровольности не то чтобы похерили, но отодвинули на второй план. Кураторы групп от имени деканатов объясняли, как хорошо будет тем, кто поедет на целину, а тем, кто все-таки откажется, будет плохо, и ни на какие поблажки по части прогулов или пересдачи экзаменов они пусть даже и не рассчитывают. Очень доходчиво объясняли. Метод дал результаты. Ударный отряд был сформирован. Провожали нас с духовым оркестром, с

митингом на перроне Московского вокзала. В своем выступлении наш декан Иван Феофанович, своими очками и вечной хмуростью похожий на композитора Шостаковича, отметил меня в числе добровольцев, проявивших подлинный патриотизм.

Знал бы он, как ему аукнется мой патриотизм!

Раздалась команда:

– По вагонам!

Оркестр грянул:

«Вьется дорога длинная. Здравствуй, земля целинная!..»

Целина поразила меня тем, что была и близко не похожа на ту, что рисовалась в моем воображении по красочным описаниям в газетах и в кинохронике «Новости дня». Бесконечная голая степь, пыльные дороги, центральная усадьба совхоза со сборными щитовыми домами без единого деревца, огромный машинный двор с десятками почти новых, но уже списанных самосвалов и тракторов. И новоселы, в основном молодежь, но вовсе не те романтики, каких два-три года назад всем миром провожали на целину. Романтиков уже не было, разбежались. Остались те, кто привычен к работе на земле – крестьянские дети из скудного российского Нечерноземья.

Но и здесь земля была не подарок. На Кубани я привык к виду тяжелых пшеничных нив, по которым ветер проходил золотыми волнами. Здесь же, на огромных квадратах, каж-

дый по четыреста гектаров, колоски торчали так, будто их не сеяли, а сажали вручную, поодаль друг от друга.

– Сколько же вы рассчитываете получить зерна? – спросил я однажды у главного агронома совхоза, недавнего выпускника московской «тимирязевки».

– На круг центнеров по шесть.

– По шесть?!

– А что? Нормально, – ответил он и произнес непонятную мне фразу: – Чего не посеем, того и не соберем. Чего не соберем, того не сгноим.

Рабочих рук катастрофически не хватало. Работники из студентов не ахти какие, но директор совхоза был и нам рад. Он очень умело организовал работу: ребята крепче клали из шлакоблоков стены зернохранилища, другие готовили и подносили раствор, девушек пристроили штукатурами, мне с тремя однокурсниками выпало грузить в самосвалы гальку из степного карьера в сорока километрах от центральной усадьбы. А когда одного из водителей увезли в райцентр с приступом аппендицита, директор, поматерившись, доверил мне его самосвал. С рассвета до темноты я гонял по степным дорогам и с сожалением прикидывал, что скоро придется расстаться с этой увлекательной работой и возвращаться в постылые институтские аудитории.

И это время пришло. В бухгалтерии дали расчет – по две с половиной тысячи рублей. Огромные деньги – шесть стипендий. Накануне отъезда директор совхоза собрал нас в огром-

ном зале только что законченного зернохранилища, прочувствованно поблагодарил за помощь и неожиданно спросил, нет ли желающих остаться и поработать еще хотя бы три-четыре недели. Объяснил:

– Не хватает людей, прямо беда. Зиму раннюю обещают, пшеница под снег уйдет, все труды псу под хвост. Нам бы хоть человек двадцать. С институтом договоримся. Оформим всех помощниками комбайнеров. Платить будем как своим. Как вы, ребята?

Двадцати желающих не нашлось. Нашлось шестнадцать. И я, конечно же, в их числе.

Последние гектары убирали по снегу. К середине сентября все закончили. Директор совхоза щедро расплатился и выбил для нас в обкоме комсомола медали «За освоение целинных и залежных земель». Эту медаль я цеплял, когда нужно было идти в деканат объясняться за прогулы или просить разрешения на пересдачу экзамена. И, видно, так достал декана, что на следующий год, когда началось формирование нового ударного студенческого отряда для отправки в Кустанайскую область, он распорядился:

– Левашова на целину не пускать!

Ага, разбежался. Поди-ка меня не пусти. А патриотизм? А горячий душевный порыв? Декана поправили.

– Но учтите – больше никаких поблажек не будет, – хмуро предупредил он. – Ни в чем. Спрошу за каждый «неуд», за каждый прогул! Так и запомните!

Я смиренно пообещал. И про себя решил, что не стоит напрягать отношений, если я все-таки хочу закончить этот долбаный институт. Три года уже осилил, осталось всего два, выдержу. Феофаныч мужик нормальный, только с виду хмурый, но и его терпению есть предел.

В Кустанае работу мы закончили в срок, в середине августа вернулись в Ленинград. До начала занятий оставалось две недели. Ни то, ни се. И я решил съездить в Грузию к тетке, младшей сестре матери. В младенчестве она меня нянчила и очень любила. Она давно меня приглашала и даже обижалась, что я не еду. Верней, огорчалась. Обиды были не в ее характере и не в обычае маленькой православной общины, к которой она прибилась, овдовев во время войны. Община располагалась в глухой деревне на берегу речушки Цици-Цхали, в двух часах езды поездом от Тбилиси и еще километрах в двадцати от станции. Держали пчел, тем и жили.

К поезду тетка приехала на двухколесной грузинской арбе с низкорослой лошадкой в упряжке. Как-то очень светло умилилась тому, что я уже такой взрослый, и расстроилась, что я курю. Но поехали мы не в деревню, а в горы, куда на лето вывезли пасеку. Эти полторы недели, которые я прожил на пасеке, были, наверное, самыми умиротворенными в моей жизни. Члены общины, в основном женщины, были словно бы бестелесными, никак не обременяющими своим присутствием. Днем работали на пасеке, по вечерам негромко, ангельски чистыми голосами пели псалмы. С первой звездой

жизнь затихала. Я помогал по хозяйству, а в свободное время читал Жития святых – никаких других книг не было.

Незадолго до моего отъезда решили перевезти пасеку в деревню на зиму. Луговые медоносы отцвели, взятка не было. Договорились с бортовым грузовиком, в сумерках стали закрывать летки марлей и перемещать ульи в кузов. Раньше было нельзя, пока пчелы не вернулись в семьи. Ульи ставили один на один в четыре ряда, увязывали веревками. Сзади оставили два ряда свободными – для тех, кто будет сопровождать машину, и поможет на месте с разгрузкой. Мне досталось место с краю, у низкого борта. Держаться приходилось за веревки и за передние ульи, больше не за что. Двинулись в путь уже в полной темноте. То, по чему мы ехали со скоростью примерно пять километров в час, дорогой назвать было нельзя. Это было что угодно, но не дорога. Грузовик кренился то в одну сторону, то в другую. Казалось, вот-вот и машина завалится набок со всем своим мерно гудящим грузом. Но в последний момент все каким-то чудом выровнялось.

Часа через два дорога спустилась в равнину, стало спокойнее. Я расслабился, переступил затекшими от напряжения ногами. И через пару минут почувствовал, что по моей шее что-то ползет. Пчела ползет, что еще может ползти? Она добралась до щеки. Я замер, надеясь, что она сейчас улетит. Может быть, она и улетела. Но сначала ужалила. И тут же

по шее полезла другая пчела. Судорожным движением руки я попытался ее смахнуть. Смахнул. Но она все-таки успела ужалить. А снизу напозлали еще две пчелы. Видимо, неловко потоптавшись, я порвал марлю, закрывавшую летку.

Жизнь моя превратилась в пытку. Пчелы устремлялись к моей физиономии, будто она была медом намазана. И ни одна не улетала, не ужалив. Жгли везде: в шею, в уши, в верхнюю губу, в нижнюю губу, в нос, в подбородок, в лоб, в щеки. Даже в веко одна умудрилась. И снова – верхнюю губу, в нижнюю губу, в уши. Я был готов спрыгнуть с грузовика и остаток пути проделать пешком, но было неудобно перед спутницами, вымотанными трудной дорогой.

Наконец через час или через целую вечность машина въехала в темную деревню и остановилась в просторном дворе. Мотор заглох. Я скатился на землю и принялся стряхивать с одежды этих мерзких тварей. Принесли «летучую мышь», приблизили к моему лицу и покатались от хохота. Смущенно крестились, «Господи прости, грех какой!» И вновь хохотали. Кто-то принес из дома зеркало. Из него глянуло на меня нечто совершенно чудовищное, страшный сон: с огромными ушами, с перекошенными щеками, с уродливой, словно заплывшей жиром шеей, с толстыми вывороченными губами. Венчали эту картину узенький хитрый глаз и две шишки на лбу, как прорезающиеся рожки. И при этом общее выражение было, как у добродушного клоуна, изображающего идиота. Даже я сам не смог удержаться от усмешки. Правда,

довольно кривоватой.

– Не горюй, – сказала мне тетка. – Пчелка – божья тварь, от нее худа не будет.

Меня же заботило другое: как в таком виде возвращаться в Ленинград? Совершенно невозможно.

Опухоль сошла лишь на десятый день, оставив некоторую желтизну и сморщенную кожу, как у алкоголика после запоя. Но я решил ехать. За два дня в дороге лицо еще подправится, а я уже и так опаздывал почти на две недели. На той же арбе тетка отвезла меня к поезду, благословила и одарила двумя трехлитровыми бидончиками молодого меда.

– Не отказывайся, это от чистого сердца. От всех нас. Мы никогда не забудем, как ты нас насмешил. Храни тебя Господь.

В поезде я выменял у какого-то грузина бидончик меда на бидончик чачи и в общежитии отпраздновал свое возвращение, после чего все дверные ручки, спинки кровати и дверцы шкафа были липкими больше недели.

При моем появлении в институте меня вызвали в деканат, и секретарша Феофаныча передала мне его распоряжение представить письменное объяснение по поводу моего двухнедельного отсутствия на занятиях. Этого я ждал и в тот же вечер сочинил очень правдоподобную историю о том, как во время моего пребывания у родственников в Грузии на горной реке Циви-Цхали произошел очень сильный паводок, и

деревня две недели была отрезана от внешнего мира. Что и явилось причиной моего опоздания.

С этой бумагой я и явился к декану. Но секретарша меня не пустила:

– Оставьте, я передам.

Дня через три Феофаныч затребовал меня пред свои очи.

– Я ознакомился с вашей объяснительной. И навел кое-какие справки. Грузия действительно существует. Горная река Циви-Цхали тоже существует. И на ней действительно бывают сильные паводки. Но они бывают в начале лета, в период таяния снега в горах. А осенью никаких паводков на горных реках Грузии не бывает. Почему вы все время врете?

– Но вы же не поверите, если я скажу, что меня покусали пчелы и я две недели ждал, пока моя морда не придет в норму?

– Пчелы? – переспросил он. – Какие пчелы?

– Обыкновенные. Домашние.

– Разумеется, не поверю.

– Вот. А спрашиваете, почему я вру.

– Так. Очень интересно. Давайте с начала. И не пропускайте подробностей.

Когда я закончил рассказ, декан глубоко задумался и озадаченно покачал головой:

– Невероятно. Но я склонен поверить. Знаете, что меня убедило?

– Что все хохотали?

– Нет. Религиозная община. Русская религиозная община в Грузии – такое не придумаешь.

– Переписать объяснительную? – предложил я.

– Идите занимайтесь. И давайте договоримся. Еще один прогул, и я подпишу приказ о вашем отчислении. И никакие подвиги на целине вам не помогут.

Он придвинул мою объяснительную и поставил размашистую резолюцию: «Принять к сведению. В архив».

Семестр прошел относительно благополучно. На зимние каникулы я съездил к матери в Ухту. Помятуя предупреждение Феофаныча, обратный билет взял на поезд «Воркута – Ленинград», который приходит в Питер в пять утра. Заеду в общежитие, оставлю вещи и к девяти успею на лекции. Так бы оно и было. Но часа в четыре, когда проводница разнесла чай и начала собирать белье, вагон вдруг сильно встряхнуло, накренило, внизу загрохотало, будто поезд не катился по рельсам, а скакал по шпалам. Потом еще раз дернулся и остановился. Свет погас, через некоторое время зажегся. Проводница сбегала к бригадиру и, вернувшись, объявила:

– Граждане пассажиры, успокойтесь, ничего страшного.

Как выяснилось, возле станции Мга задний вагон сошел с рельсов, начал стаскивать остальные. Наш вагон был четвертый с конца, на нем поезд остановился. Пострадавших нет, все живы-здоровы, не паникуйте.

Часа через три на соседний путь подали электричку, пе-

ресадили в нее пассажиров. Она двинулась в сторону Ленинграда, но ехала почему-то очень медленно, только в пятом часу дня всплыла под своды Московского вокзала. Никакого резона ехать в институт уже не было. Совесть моя была спокойна: я же не виноват, что такое случилось.

Но декан был другого мнения.

– Вот приказ о вашем отчислении. Я подписываю и передаю ректору. Это чистая формальность, но я должен спросить: в чем причина вашего прогула?

– Я не виноват. Понимаете, тут такое дело: поезд, на котором я ехал, сошел с рельсов...

– Как?! – взревел Феофаныч, ни на кого никогда не повышавший голоса, размашисто подписал приказ и вызвал секретаршу.

– Передайте в ректорат. С меня хватит!

– Иван Феофанович! – взмолился я. – Я не вру. Честное слово! Я говорю чистую правду! Было крушение. Возле станции Мга!

– Вы говорите правду? Прекрасно. Езжайте на вокзал и принесите мне справку о том, что было крушение. Если через два часа вас не будет, приказ уйдет в ректорат. Все, идите.

На Московском вокзале я отыскал кабинет начальника и попросил дать мне справку о том, что поезд, на котором я ехал, сошел с рельсов. В доказательство, что я ехал имен-

но на этом поезде, показал билет. Начальник как-то странно посмотрел на меня и велел обратиться за справкой в кабинет номер такой-то, по коридору прямо, последняя дверь слева. В кабинете без таблички, только с номером, за канцелярскими столами сидели два человека, курили «Беломор» и читали газеты. Тот, что постарше – «Правду», второй, помоложе, – «Известия». Оба не в железнодорожной форме, а в обычных костюмах. Выслушав мою просьбу, почему-то переглянулись.

– Зачем вам справка? – полюбопытствовал молодой.

Я объяснил: требует декан, иначе грозит отчислить.

– Надо же, какой грозный у вас декан! А на слово не верит?

– Ни в какую, – подтвердил я. – Уперся. Неси справку и все.

– Фамилия декана? – вмешался старший.

Я сказал.

– Должность?

– Декан – это и есть должность. Декан второго факультета.

– Какого института?

– Технологического имени Ленсовета.

Пожилой вписал данные в конторскую книгу. Но почему-то не мои, а декана.

– Так что, дадим молодому человеку справку? – с иронией поинтересовался молодой.

– Не скалься, дело серьезное, – оборвал старший. Он на-

писал на листке номер телефона и протянул мне. – Передайте декану, чтобы он позвонил по этому номеру.

– А справка? – спросил я.

Молодой усмехнулся:

– Ну что мы будем разводить формальности! Обойдемся без писанины. Гуляй, студент, гуляй!

Вернувшись в институт, я протянул Феофанычу листок с телефоном.

– Это – справка? – неприятно удивился он.

– Вас просили позвонить по этому телефону.

– Кто просил?

– Не знаю. Какой-то человек на вокзале. Он не назвался.

– Что ж, позвоним вашему таинственному незнакомцу.

Почему бы и нет? – Он набрал номер и официально представился:

– С вами говорит декан факультета неорганической химии Технологического института имени... Как? Да, я вас слушаю...

Не знаю, что ему говорили, но лицо у Феофаныча постоянно вытягивалось, он то и дело поправлял очки, сползавшие с почему-то запотевшего носа, повторял напряженным голосом:

– Да, понимаю... Нет, не настаиваю... Да, конечно... Все понял, спасибо. Желаю здравствовать.

Положив трубку, вынул большой клетчатый платок, сначала протер очки, потом лицо.

– Что сказали? – осторожно спросил я.

– Что сказали? То, что я и сам должен знать. На советских железных дорогах никаких крушений не бывает никогда. Никаких. Даже мелких. Вот что сказали.

Он на четыре части разорвал лежавший перед ним и уже подписанный им приказ и бросил обрывки в корзину для бумаг.

– Чего вы ждете? Свободны.

С порога я оглянулся. Феофаныч расслабленно сидел в кресле и смотрел мне вслед с таким выражением, что на лице его без труда читалось: «Господи, когда же я избавлюсь от этого придурка?!»

В тот день, когда мне торжественно вручили с такими муками выстраданный диплом, не было более счастливого человека, чем...

Чем я?

Нет, чем декан.

Слава

Однажды в отдел очерка журнала ЦК ВЛКСМ «Смена», где я работал разъездным корреспондентом, заглянула заведующая отделом писем и протянула мне конверт:

– Коллективка. Пришла из Питера, из Технологического института. Ты же там учился, правильно? Посмотри. По-моему, есть тема.

Под письмом было штук двадцать подписей. Группа третькурсников-электротехников взбунтовалась против старосты и потребовала его сменить. Причины: хам, доносчик, перед начальством лебезит, с товарищами высокомерен. Деканат встал на сторону старосты, факультетский комитет комсомола занял позицию невмешательства. Просим прислать корреспондента и помочь нам добиться справедливости.

В редакционной почте такие письма были не редкость. Чаще всего их переправляли в вышестоящие органы на местах с просьбой разобраться и принять меры. Но это письмо меня заинтересовало. Здесь была тема. В любом варианте: если староста действительно хам и холуй и если он честный человек, восстановивший против себя группу своей требовательностью. Немного грела и другая мысль: будет интересно появиться в родной «техноложке» в роли спецкора всесоюзного журнала с полуторамиллионным тиражом.

Я выписал командировку и поехал в Ленинград.

Дело оказалось проще простого. Староста, поступивший в институт после армии, действительно оказался личностью очень неприятной. Эдакий маленький начальник, обожающий показывать свою власть. Обязанность старосты: вести журнал посещений, сообщать в деканат о прогульщиках. Он может поставить прогул, а может и не поставить. Или поставить прогул тому, кто в тот день ничего не прогуливал. Поди потом доказывай, что произошла ошибка. Этой своей маленькой властью староста пользовался без зазрения совести. Доносами тоже не брезговал. В деканате скопилась целая пачка его докладных о случаях выпивки в общежитии, о злостных картежниках, о тех, кто приводит девиц легкого поведения. И хотя в группе тоже собрались далеко не ангелы, общий расклад сомнений не вызвал: такого старосту нужно гнать.

Но тут выяснилось одно обстоятельство, которое объясняло, почему эта несложная проблема не была решена в своем кругу и почему факультетский комитет комсомола предпочел не вмешиваться. Старосту поддерживал не деканат, а институтский партком. Он пришел из армии кандидатом в члены партии, в партию вступил уже в институте и считался перспективным молодым кадром. Это исключало вмешательство в конфликт молодежного журнала. Критиковать партийные кадры нам не позволялось. Комсомольские, вплоть

до второго секретаря обкома – сколько угодно. А партийные – стоп. Но об этом мало кто знал, и я решил этим воспользоваться.

Для начала провел общее собрание группы с присутствием декана, секретаря парткома, довольно противной бабы, секретарей факультетского и институтского комитетов комсомола. Собрание получилось таким, как я и ожидал: бурным, на нерве, помоев на старосту вылилось выше головы. Попытки секретаря парткома его защитить обернулись тем, что и ей досталось от возмущенной общественности. Потом я провел совещание в узком кругу с секретарем парткома и комсомольцами.

– У меня нет выбора, на чью сторону стать, – сообщил я с глубокой скорбью в голосе. – Но репутация моего родного института мне дорога, и с моей стороны было бы черной неблагодарностью опозорить альма-матер на всю страну ради того, чтобы написать острую статью. Но делать все-таки что-то нужно. Давайте вместе подумаем, как выйти из этой непростой ситуации, чтобы не обидеть ни группу, которая права, как всегда право большинство... вы согласны? – обратился я к секретарю парткома.

– Да, конечно, – важно подтвердила она. – Большинство всегда право. А как же?

– ... ни старосту, принципиального, хотя и несколько прямолинейного человека.

Правильно поставленный вопрос всегда содержит в себе

ответ. Утраивающий всех компромисс был найден. Старосту решили кооптировать в институтское партбюро, а от обязанностей старосты освободить, так как у него не будет возможности совмещать эти две трудные обязанности. На том и сошлись.

Командировка моя подошла к концу. Напоследок я зашел к заведующему кафедрой электротехники, молодому доктору наук, чтобы сообщить, как разрешился конфликт в его группе. Пока я говорил, он очень внимательно, даже напряженно рассматривал меня. Наконец не выдержал:

– Ваше лицо почему-то кажется мне знакомым. Мы не могли раньше встречаться?

– Конечно, встречались, – подтвердил я. – Помните студента, который на госэкзамене по электротехнике перепутал закон Ома? Так это был я.

– Неужели? – просиял доктор. – Вы даже не представляете, голубчик, как я рад вас видеть!

– Какая странная вещь слава, – философски заметил я. – Отличников небось не помните, а меня вот запомнили.

– Да-да, верно. Я вас иногда вспоминаю. И всегда с удовольствием. Значит, инженера из вас не вышло?

– Не вышло.

– Это замечательно. Нашей промышленности повезло. Так вы теперь журналист?

– Вроде того.

– Хороший?

Я неопределенно пожал плечами:

– Не знаю. Говорят, ничего. Печатают.

Доктор ненадолго задумался, потом сказал:

– Никогда не понимал, кто идет в эту профессию.

– Теперь понимаете? – поинтересовался я.

– Теперь понимаю.

Театральные былички

Комплимент

В объединении драматургов Московской писательской организации любили такой анекдот. Прозаик говорит драматургу: «А знаешь, я тоже решил написать пьесу. И уже написал сто восемьдесят страниц». Соль этого анекдота, непонятная для непосвященных, в том, что максимальный размер пьесы – шестьдесят страниц, самое большое – семьдесят. В начале 60-х годов Э.Радзинский написал свою знаменитую пьесу «Сто четыре страницы про любовь». Уже лет через десять на театре ее не стали бы и читать – длинно.

На театре – не опечатка. Профессиональный жаргон. Как у нефтяников добыча, а у судейских возбуждено (про уголовное дело).

Мечта каждого прозаика – написать пьесу. Не знаю, почему. То ли объем соблазняет. Шестьдесят страниц – делов-то. Это не роман в четыреста страниц, а кормит пьеса (если она пошла) не хуже, чем романый кирпич. Но скорее – желание приобщиться к таинственному миру кулис, вкусить вкус успеха, когда ты выходишь на поклоны под восторженные аплодисменты зрителей: «Автора! Автора!...»

Не избежал этого искушения и я. Но все как-то не удавалось донести написанные пьесы до театра – перехватывало телевидение, литдрама. И уже на репетициях первого моего телеспектакля до меня начало доходить, что недаром драматургия считается высшей математикой искусства. Я не понимал, чего от меня хотят. Я вообще не понимал, о чем со мной говорят. Примерно как в институте, прогуляв вводные лекции, уже не врубался в дальнейшее.

Режиссером-постановщиком спектакля был Саша Прошкин (позже прославленный автор «Холодного лета 53-года», экранизации «Доктора Живаго»). Он спрашивал:

– Что они в этой сцене делают?

– Как что? – искренне удивлялся я. – Все написано. Он говорит: я тебя люблю. А она говорит: я тебя не люблю, а люблю другого.

– Да нет! Я спрашиваю: что они делают?

– Ну как? Сидят, пьют чай. Не нравится? Пусть пьют кофе.

– Какое кофе? Какой чай? – начинал возбужать обычно терпеливый Прошкин. – Актер меня спросит: что я здесь делаю? Понимаешь? Делаю. Что я ему скажу?

– Так и скажи: пьешь чай. Или кофе. С сушками. Можно с вареньем. Мне без разницы.

Саша посмотрел на меня с искренним интересом:

– Ты идиот? Или прикидываешься?

Я понял, что его терпению вот-вот придет конец, и пред-

ложил:

– Давай с другого конца. А как тебе видится эта сцена? В порядке бреда. Рыба.

(«Рыба» – из жаргона композиторов-песенников: набор слов, задающий размер текста песни.)

– Вот как. Он говорит: какие странные сегодня облака, скоро осень. Это он говорит. А что он делает? Признается в любви. Врубается?

– А она?

– Она говорит: такие облака перед снегом, скоро зима. Что она делает? Уклоняется от ответа на его признание. Понимаешь?

– Начинаю, – не очень уверенно ответил я.

На самом же деле я еще не понимал ничего. И даже сегодня, написав полтора десятка пьес, шесть из которых шли в театрах, так до конца и не понял, на каком языке режиссер общается с актерами.

Года через два, когда мою комедию «Ключ» приняли к постановке в московском Новом театре (в 800-х метрах от кольцевой автодороги, но все равно московский), я твердо решил вникнуть в театральный процесс и не пропускал ни одной репетиции. От моей Малаховки до театра было два часа на электричке, метро и автобусе. За три месяца ежедневной езды я прочитал все четыре тома «Моей жизни в искусстве» Станиславского и только тогда более-менее понял, что

такое это таинственное театральное «действие».

В книге есть эпизод: Станиславский сидит в кресле и молчит. Наполненно. Потом спрашивает у студийцев: «Что я делаю?» И сам отвечает: «Отдыхаю от вас».

Моя девственная невинность в театральном искусстве со служила мне однажды хорошую службу. «Ключ» в Новом театре ставил режиссер Юрий Мочалов (позже он прославился на всю Москву тем, что получил за сценическую редакцию какой-то комедии Шекспира 100 % гонорара, вытеснив Шекспира из платежной ведомости). Он называл себя последователем Станиславского, но понимал знаменитую систему с точностью до наоборот: не только содержание определяет форму, но и форма заставляет актера наполнять свою роль содержанием. Так и работал. Мизансцены у него всегда были эффектными, а когда актер робко спрашивал: «Куда я после этой сцены уйду?» – Мочалов высокомерно бросал: «В пампасы!»

А между тем актеры Нового театра, тогда еще молодые, были выпускниками школы-студии МХАТ и к такой режиссуре не привыкли. Поначалу они дурачились, посмеивались над Мочаловым, но чем ближе была премьера, тем большее беспокойство их охватывало. Выйти на премьеру пустыми – это как? Назревал конфликт. Я о нем даже не подозревал. Сидел на всех репетициях, с удовольствием отмечал, что текст никто не перевирает, отсебятины не несет, что еще на-

до? Так и сказал директриссе, которая осторожно поинтересовалась моими впечатлениями: «А что? Все нормально».

Недели за две до премьеры прогон посмотрел худсовет. На обсуждении новый главный режиссер, незадолго до этого назначенный московским главком, заявил: «Никуда не годится. Артисты не знают, что играют, ходят с пустыми глазами. Все нужно переделывать! Я сам этим займусь!»

Мочалов сидел ни жив, ни мертв. Слух о том, что его отстранили от спектакля, мгновенно разнесется по всей Москве, и он больше не получит ни одной постановки. Позор. Катастрофа.

И тогда выступил я, полный неподдельного негодования. Что за дела? Юрий Александрович довел работу почти до конца, а теперь его отстраняют? Не позволю. Провалится спектакль, тогда и будете решать. А сейчас пусть заканчивает. Нет? Тогда я забираю пьесу.

Угроза подействовала. Худсовет поскрипел зубами, похмурился, но решил: ладно, пусть заканчивает.

На улице Мочалов с чувством пожал мне руку:

– Спасибо, вы настоящий друг. Другой бы на вашем месте промолчал.

– Почему? – удивился я.

– Не понимаете? Вы же навсегда испортили отношения с новым главным. Он вам никогда этого не простит.

– Да? Я об этом как-то не подумал.

– А если бы подумали?

– Юрий Александрович, за кого вы меня принимаете? – укорил я не очень искренне.

– За молодого драматурга, – со вздохом ответил он. – Со всем неопытного. К счастью для меня.

Он ошибся. Отношения с новым главным испортились надолго, но не навсегда. Года через три он все-таки поставил мою новую комедию.

Работа над спектаклем продолжилась. Артисты поняли, что поддержки ждать не от кого, на сцену придется выходить им. И на одном из последних прогонов вдруг начало получаться. Спектакль чудесным образом ожил. Сбежался весь театр. И вдруг Мочалов прерывает прогон и начинает ставить поклоны. Я в недоумении:

– Что вы делаете? Ребята только начали входить во вкус!

– Я знаю, что делаю, – с взбесившим меня высокомерием ответил мэтр. – Не нужно меня учить.

Я вышел из зала, не хлопнув дверь только потому, что двери в театре закрыты портьерами и не хлопают. Вечером позвонил Мочалов. Он был в истерике:

– Что вы наделали? Вы меня предали! Так не поступают друзья!

– Я не ваш друг, – ответил я тоном английского лорда, который делает выговор провинившемуся дворецкому. – Я

друг нашей работы. Если вам угодно портить ее, на меня не рассчитывайте.

Премьера прошла с неожиданным успехом. (Здесь я уподобляюсь всем драматургам: «Как премьера?» «Грандиозно, старик!») Артистов и режиссера несколько раз вызывали на поклоны, было много цветов. Я на сцену не выходил. Представил, каким идиотом буду выглядеть, и остался сидеть в зале. Цветы, которые принесли друзья, они вручили мне после спектакля приватно, из рук в руки. Когда я с букетом выходил вместе со всеми зрителями из зала, какая-то девушка смерила меня презрительным взглядом и громко сказала подруге:

– Посмотри на этого жлоба. Надо же, пожалел цветов артистам за такой спектакль!

Театральная моя судьба сложилась не то чтобы совсем неудачно, но и не слишком удачно. Все же бывали и успешные премьеры, и цветы на поклонах, на которые я научился выходить, и благодарности зрителей после спектаклей. Но лучшего комплимента, чем тот, что я услышал в вечер своей первой премьеры, я больше не получал никогда.

Демиург

Весной 85-го года, когда вся страна гадала, чего ждать от нового генсека Горбачева, у меня в Малаховке без предупреждения появился худощавый человек лет тридцати пяти, с длинными черными волосами, с замшевой сумкой на плече, с артистически завязанным шейным платком вместо галстука, что сразу выдавало в нем принадлежность к миру искусства. Извинившись, что без звонка (телефон у меня недавно сменился), представился:

– Кошелев, Анатолий. Главный режиссер Норильского драматического театра имени Маяковского. Недавно назначили.

Я полюбопытствовал:

– Недавно – это когда?

– Вчера. Приказ по министерству был подписан вчера, а переговоры шли с полгода.

– До этого где служили? – продемонстрировал я знание театра.

(На театре не работают, там служат.)

– В Новгородской драме, очередным.

Главные режиссеры не частые гости в моем доме. Собственно, Кошелев был первым, а лет через двадцать главный режиссер муниципального театра из Тынды вторым и, видимо, последним. Поэтому я принял нежданного гостя со всем

радушием.

Он объяснил: в Норильске наконец построили новое здание театра. К открытию сезона в новом театре нужна пьеса. Что-нибудь особенное. Лучше на местном материале. Искали подходящее, не нашли. В реперткоме Минкульта посоветовали обратиться к вам. Вы же работали в Норильске?

Я подтвердил.

– Уже хорошо, вы в теме, – обрадовался Кошелев. – Пьеса нужна вроде «Города на заре». Комсомольцы-добровольцы, Заполярье, черная пурга и все такое. Ну, понимаете.

Я понимал. Но никакой охоты писать пьесу о комсомольцах-добровольцах у меня не было.

– Норильск строили не комсомольцы-добровольцы, а зэки, – напомнил я.

– Да, да, знаю, – горестно покивал он. Горестно не от сочувствия к зэкам, а потому что пьесу с зэками Главлит ни за что не пропустит. – Но в пятьдесят шестом году приехали шесть тысяч молодых ленинградцев и москвичей. Может, о них?

– Завенягин, – сказал я.

– Гениально, – сказал Кошелев.

У меня давно шевелилась мысль написать о первом начальнике Норильскстроя Завенягине. Фигура крупная, с крутыми драматическими поворотами в биографии. Он так и просился в пьесу. Начальник Магнитки, он был назначен

первым замом Орджоникидзе. Но в тот день, когда Завенягин приехал в Москву, Орджоникидзе застрелился. Любимый ученик Серго оказался между небом и землей. Он ходил в наркомат, сидел в пустом кабинете, а по ночам ждал, когда за ним приедут. (Я об этом писал в «Северных быличках»). И вдруг – неожиданный поворот.

Цитирую пьесу:

«СТАЛИН. Мы сейчас обсуждаем кандидатуры... ищем человека, который мог бы возглавить строительство (задержался у стола, заглянул в бумаги) Норильского горно-металлургического комбината. Как мы выяснили, предложения товарищей из Управления кадрами не могут быть приняты. И у меня появилась мысль... у нас же есть такой человек! Талантливый инженер, крупный организатор промышленности, все мы его хорошо знает и ценим. Я говорю о товарище Завенягине. Как заместитель наркома он должен присутствовать на этом заседании... он здесь?»

ЗАВЕНЯГИН. Да, товарищ Сталин.

СТАЛИН. Сидите, товарищ Завенягин. Я пока просто размышляю... делюсь с членами правительства своими соображениями. Возникают два вопроса. Первый вопрос, который мы всегда задаем себе: справится ли этот товарищ с делом? Вся деятельность товарища Завенягина проходила у нас на глазах. Он сумел в корне перестроить работу Магнитогорского комбината, дал самый дешевый металл. И мы не

удивились, когда в этом же зале наш незабвенный Серго настоял на назначении товарища Завенягина своим первым заместителем, иначе говоря – вторым человеком во всей нашей социалистической индустрии. Увы, ученику не удалось поработать с учителем. Не выдержало горячее сердце Серго. И наш молодой товарищ разделил с нами наше горе. Я помню его слова с трибуны Мавзолея, очень хорошо помню...

ГОЛОС ЗАВЕНЯГИНА (документальная запись выступления на траурном митинге). «Рабочие, работницы Магнитки и все трудящиеся Урала, от имени которых я выступаю, потеряли в лице товарища Серго Орджоникидзе своего верного и близкого друга. Велико наше горе! Особенно велико оно у тех, кто воспитан им, кто видел в нем нежного отца и полного сердечной дружбы бесстрашного и талантливого руководителя и наставника. Товарищ Серго не может умереть для дела, за которое он боролся. Его имя стало нашим знаменем...»

СТАЛИН. Да, не удалось ученику поработать с учителем. Но и без наставника товарищ Завенягин успешно работал, взвалил на себя огромный груз руководства всей нашей промышленностью... Интересно, сколько дел руководитель такого масштаба решает за один день – например, вчера?

ЗАВЕНЯГИН. Ни одного, товарищ Сталин.

СТАЛИН. Вот как? А позавчера?

ЗАВЕНЯГИН. Ни одного, товарищ Сталин. По распоряжению наркома Кагановича я отстранен от работы.

СТАЛИН. Это нехорошо. Товарищ Каганович нерационально использует кадры. Но я думаю, что на первый вопрос мы можем ответить утвердительно: да, товарищ Завенягин способен справиться с делом, которое мы хотим ему поручить... Но тут возникает второй вопрос: согласится ли он? Не покажется ли ему это назначение оскорбительным? Сейчас в отрасли, которой он руководит, работают миллионы людей. А на стройке этого... (заглянул в бумаги) Норильского комбината всего несколько тысяч. Но разве для настоящего коммуниста имеет значение масштаб дела? Разве к лицу настоящему коммунисту разделять задания партии на важные и неважные? Нет, не к лицу... А теперь нам остается спросить товарища Завенягина: согласен ли он принять новое назначение?

ЗАВЕНЯГИН. Да, товарищ Сталин.

СТАЛИН. Другого ответа мы и не ждали. Думаю, можно перейти к следующему вопросу...»

Пьеса получила название «Особое назначение» с подзаголовком «Завенягин в Норильске». Но до пьесы было еще далеко. Норильск строили зэки, в основном пятьдесят восьмая статья, политические. Зэками были почти все инженеры, ближайшие сотрудники Завенягина. И никуда от этого не уйти.

– Может, сделать всех такими, серенькими? – неуверенно предложил Кошелев. – Норильчане поймут.

Но он и сам сознавал, это не выход, все равно вранье. А врать не хотелось. Нужно было искать какое-то другое решение. И мы нашли. Авария (они в те годы шли одна за другой). Один из заключенных гибнет. Не из главных героев, просто один из. Один из двухсот тысяч безымянных зэков, на костях которых возводился Норильск. Бригадники стоят, молчат. Молчит Завенягин. И из этого молчания рождается мощнейшая музыкальная тема – реквием Верди.

Из пьесы:

«Грянул реквием Верди, та часть его, «Туба мирум», в которой, как пишут музыковеды, «грозные фанфары, возвещающие час мировой катастрофы, звучат все ближе и ближе. В момент наивысшего напряжения вступает величественная мрачная фраза хора. Напряженное звучание хора и оркестра обрывается резко и неожиданно, сменяясь приглушенным замиранием соло баса в ритме похоронного марша».

И когда были отпеты и оплаканы все, кто отдал свои жизни, чтобы вдохнуть жизнь в эти мерзлые тундры, и все, кто свои жизни еще отдаст, в кабинете Завенягина, наполненном призрачным светом затухающего полярного дня, появляется Орджоникидзе – таким, каким помнил его Завенягин в лучшие, самые счастливые минуты своей жизни...»

Спектакль придумался. Остальное было делом техники. Нам повезло: не пришлось изворачиваться, выдумывать «се-

реньких». Времена менялись с феерической быстротой, жеманный плюрализм мнений превратился в гласность. И хотя свободой слова гласность еще не стала, цензура оказалась полностью дезориентированной, не знающей, что уже можно, а чего еще низзя. Мы рискнули: нахально вывели на сцену никаких не «сереньких», а настоящих эзков – в драных ушанках, в клифтах с номерами. И сошло. Сошло! Мы сами себе не верили. Впервые в истории советского театра на сцене появился сталинский лагерь.

Премьера состоялась зимой в новом здании театра. Его очень долго строили. Сооружение получилось внушительное, напоминающее горнолыжный трамплин крутым скатом кровли, скрывающим театральную машинерию. Наружная отделка – дикий, грубо отесанный камень, а внутри – мрамор, дорогие сорта дерева, хрустальные люстры и уютный зрительный зал мест на шестьсот-семьсот. Это нужно было видеть, как из замяти пурги или густого морозного тумана появляются безликие фигуры, упакованные в шубы, меховые шапки и шарфы до глаз, поднимаются по широкой каменной лестнице и в холле преобразуются: мужчины в парадных костюмах, свежие с мороза прелестные женщины, обязательно в платьях, в чулочках, в туфельках на высоком каблуке. Никаких сапог, никаких джинсов и брюк – считается неприличным.

У норильского театра интересная история. Он открылся

в декабре 1941-го года, в самую тяжелую пору войны. До встречи с первым директором театра Григорием Александровичем Бороденко (уже тогда это был глубокий пенсионер, жил в Алупке на Южном берегу Крыма) я был уверен, что своим рождением норильский театр обязан курьезу чисто советского свойства. Вероятно, решение о театре было принято еще до войны, а потом оно выполнялось чисто по инерции. Оказалось, нет. Именно с началом войны молодой актер Григорий Бороденко оказался без работы, так как уральский театр, где он служил, закрылся из-за всеобщей мобилизации. Бороденко по состоянию здоровья на фронт не попал, вернулся на родину, в Красноярск, тут-то и узнал, что в Норильске хотят иметь свой театр. Нашелся антрепренер, сколотили труппу, и в один из сентябрьских дней артисты будущего театра собрались на пристани, чтобы плыть в Дудинку, а оттуда, по узкоколейке, ехать в Норильск. Вот как об этом рассказывал сам Бороденко:

– Ждем. Антрепренера нет. А у него и билеты, и деньги. Пароход вот-вот отчалит. Прорвался я к капитану, объяснил, что и как. Он переговорил с кем-то из норильского начальства, раздалась команда: «Пустить артистов!» Погрузились, плывем. Но денег-то ни у кого нет. А многие с детьми. Первые дни ели то, что прихватили из дома. А дальше? Плыть-то целую неделю! Выход нашелся неожиданный. В кают-компании после завтрака собирались норильские тузы, руководители стройки, играли в преферанс. Я подсел посмотреть, в

преферанс я играл прилично. Им как раз четвертого не хватало, я оказался кстати. Но когда я увидел, по каким ставкам они играют, у меня в глазах потемнело. К счастью, игроки они были так себе, при этом во время игры не отказывали себе в удовольствии пропустить стопарик за стопариком под енисейскую стерлядку, так что к концу игры у меня оказывалось до нескольких тысяч рублей выигрыша. Это при том, что как актер я зарабатывал тогда по 700 рублей в месяц. На эти деньги вся наша труппа и добралась до Норильска...

Мои исторические изыскания привели к неожиданному открытию. Оказалось, что в годы войны и особенно в первые послевоенные годы Норильск был самым театральным городом если не мира, то уж страны точно. Сегодня в десятиmillionной Москве всего четыре десятка театров, а в двухсоттысячном Норильске тех лет постоянно работали до двадцати театров, а число премьер доходило до полусотни в год. Все театры были лагерные, в них играли заключенные, бывшие актеры, режиссеры и музыканты из лучших коллективов страны. И только один театр был «вольный» – тот, который с первых дней возглавил Бороденко.

Здесь и разгадка тайны рождения норильского театра. Дело в том, что лагерные театры давали спектакли только для заключенных. По крайней мере, так полагалось. Правило, конечно, не выполнялось. На каждую премьеру под предлогом контроля являлось все энкавэдэшное начальство с же-

нами и знакомыми. Ну где еще они могли бы послушать Лидию Русланову или Головина, увидеть знаменитых артистов! И получалось, что начальству как бы и не положено то, на что имеет законное право последний доходяга из ээков. Это ощущение социальной несправедливости и привело к мысли создать свой театр. Война? Ну и что? Тогдашние бонзы, как, впрочем, и нынешние, не любили себе в чем-то отказывать. Так и начал жить этот заполярный театр.

Последние репетиции «Особого назначения» проходили в жуткой неразберихе. Обычную предпремьерную суматоху усиливали строители. Как водится, они не успевали к сроку и доделывали огрехи в авральном режиме. За сценой все время что-то грохало, визжали дрели, стучали молотки. Роль Завенягина исполнял замечательный молодой актер Юрий Цурило, внешне очень похожий на Завенягина, такой же лысоватый, такой же значительный. Только ростом был много выше. В перерывах между своими сценами он удалялся за кулисы и ни с кем ни разговаривал, чтобы не выйти из образа. Однажды в театр приехал председатель горисполкома, чтобы подогнать строителей. После обхода он появился в зале с крайне озадаченным и даже немного испуганным видом. На вопрос, что с ним, неопределенно кивнул в сторону темных кулис:

- Там... какой-то человек. Мне показалось – Завенягин.
- Это и есть Завенягин! – хором закричали мы с Кошеле-

вым. И только тогда сами поверили: спектакль получится.

Спектакль получился. Три сезона он шел с аншлагом, что для небольшого города очень большая редкость. Позже его возобновляли и показывали всем высоким гостям. Так я стал норильским драматургом. (Чуть было не сказал – демиургом).

Писать об истории – дело неблагодарное. Всегда скажут: и то было не так, и это было не так. Но как бы там ни было на самом деле (а кто точно знает, как было на самом деле?), будет так, как написал я. И в памяти норильчан Завенягин останется таким, каким был в пьесе. С бокалом шампанского, поднимающим тост:

– С Новым годом, друзья, с новым счастьем. С новым, 1941-м годом!

Сделка

Как-то случилось мне побывать в Болгарии по командировке Министерства культуры СССР. Собирал материал для пьесы о советско-болгарской дружбе. Болгарские братушки, представляя меня, говорили: русский драматург. И я чувствовал себя полковником в свите маршалов отечественной драматургии Гоголя, Островского, Чехова. Но иногда говорили: советский драматург. И будто сдирали погоны, разжаловали в рядовые и отправляли на кухню чистить картошку. Уж лучше бы называли норильским драматургом. Против этого я ничего не имел, так как с норильским театром оказалась связана немаленькая часть моей жизни.

В новую работу для норильского театра меня втравил Толя Кошелев. После «Особого назначения» он решил, что у меня легкая рука, и настоял, чтобы я написал еще одну пьесу на местном материале. В то лето весь город бурно обсуждал события в лагере «Таежный», куда учащихся местного индустриального техникума посылали на морковку. Несколько активных подростков начали наводить в лагере порядок. Руководствовались они самыми лучшими побуждениями, но порядок наводили как умели – кулаками. Кончилось это так, как всегда кончаются попытки таким образом навести порядок: озверением, до скотства, в общем-то хороших ребят.

После суда над ними в «Заполярной правде» появилась статья «Повелитель мух» (роман Голдинга был тогда популярен), статью горячо обсуждали везде, даже на планерках в горнорудном управлении. Об этой истории Кошелев и хотел поставить спектакль.

Тема показалась мне интересной, я согласился. Первое действие (пьесу назвал «ЧМО» с подзаголовком «послесловие к приговору») написал быстро, чуть ли не за две недели. Отослал в Норильск. Там вдохновились, заказали декорации, даже начали репетировать. А у меня как заклинило. Заколodило. Ни с места. Первоначальная ясность обнаружила внутри себя пустоту, я совершенно не знал, чем ее заполнить. Сидел дурак дураком, ничего в голову не приходило. А время шло. Я понял, что драматурга из меня не вышло. Уже готов был позвонить в Норильск и сказать, что пьесы не будет. Но тут в гости ко мне приехал мой приятель, хороший сатирик и не очень удачливый драматург Андрей Куцаев (последние годы он жил в Германии и писал невеселые рассказы). Когда я рассказал ему о своем решении, он посмотрел на меня, как на больного:

– Рехнулся? Твою пьесу репетируют, не дожидаясь второго действия! О таком не может мечтать даже Розов! А ты – в кусты? Старик, я перестану тебя уважать. Ты сам себя перестанешь уважать, а это гораздо хуже!

«Если трудности кажется непреодолимыми, значит близок успех». Сколько раз мне уже пришлось убеждаться в мудрости этого парадокса!

Неожиданно придумался поворот в характере главного героя, пьеса покатила, как с горы.

Премьера «Чмо» состоялась в ноябре. Я прилетел на выпуск спектакля. В Норильске уже была лютая зима с полярной ночью. Кошелев оброс, почернел и едва ли не завшивел. На театре это принято: перед премьерой не мыться и не стричься. Зато в день премьеры был как огурчик: свежий, в лучшем своем костюме, при галстукe.

На прогонах и на генеральной репетиции мы уже видели, что спектакль получился. Но все-таки волновались: как-то будет на премьерe, не перегорят ли актеры, не потеряются ли от волнения. Но все прошло как нельзя лучше. Был полный аншлаг, на премьеру явился весь норильский бомонд во главе с самым большим начальством. Все были в восторге. После спектакля мы с женами пришли ко мне в гостиницу и распили две бутылки шампанского. Просидели часов до трех ночи, отмокая от треволнений. Потом Толя с женой ушли.

Я был особенно рад успеху. Была у меня тайная мысль. Поскольку я стал норильским драматургом, сделал для городского театра уже две пьесы, так не попросить ли у комбината продать мне новую машину. Естественно, по госце-

не. Моя «шестерка» поизносилась, требовала замены, а на черном рынке новые «Жигули» шли по три номинала, не подступишься. Норильск же получал «Жигули» из фондов Минцветмета, на одну машину не обеднеют. Я знал, как это повернуть. Через первого секретаря горкома партии Игоря Аристова. С ним я был знаком еще когда он работал на комсомоле. Он не откажет мне, а на комбинате не откажут ему. Вот, сам директор комбината горячо аплодировал, а потом пошел за кулисы и благодарил актеров. Нет, не откажут. С этой приятной мыслью я и заснул.

Разбудил меня телефонный звонок. Было четыре часа утра. Звонила Людмила, жена Кошелева:

– Толю забрали!

– Кто забрал?

– Милиция!

– За что?

– Пьяный!

Я разозлился.

– Что ты несешь? Толя пьяный с двух бутылок шампанского на четверых? Да это ему как слону дробина!

– Он в гримерке выпил бутылку водки. Один. Я не усмотрела.

Постепенно выяснилось, что произошло. Выйди из гостиницы, Кошелев поругался с женой. Она ушла вперед, Толя отстал. Он все время падал в скользких парадных туфлях.

А надо сказать, что улицы Норильска полярной ночью очень ярко освещены, просматриваются насквозь. Кошелева заметил милицейский патруль. Оглянувшись, Людмила увидела, что его уже заталкивают в «уазик».

Что делать? Ситуация была очень серьезная. В стране свирепствовала антиалкогольная компания. Пик ее прошел, но последствия еще давали о себе знать. Доходило до скверных анекдотов. Однажды в пятницу вечером пятеро начальников цехов и главных специалистов норильских заводов собрались в сауне, которые были во всех бытовках, отметить день рождения одного из них. Ему исполнилось пятьдесят четыре года. Дата не круглая, примечательная разве что тем, что имениннику оставался всего год до пенсии, которую северянам платили в пятьдесят пять лет. Народ солидный, уважаемый в городе. Попарились, выпили, душевно поговорили. На выходе их ждал наряд милиции. Утром на экстренно созванном бюро горкома партии всех пятерых исключили из партии и уволили с работы. Руководители комбината понимали, что это дурь несусветная, но сделать ничего не смогли: кампания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.